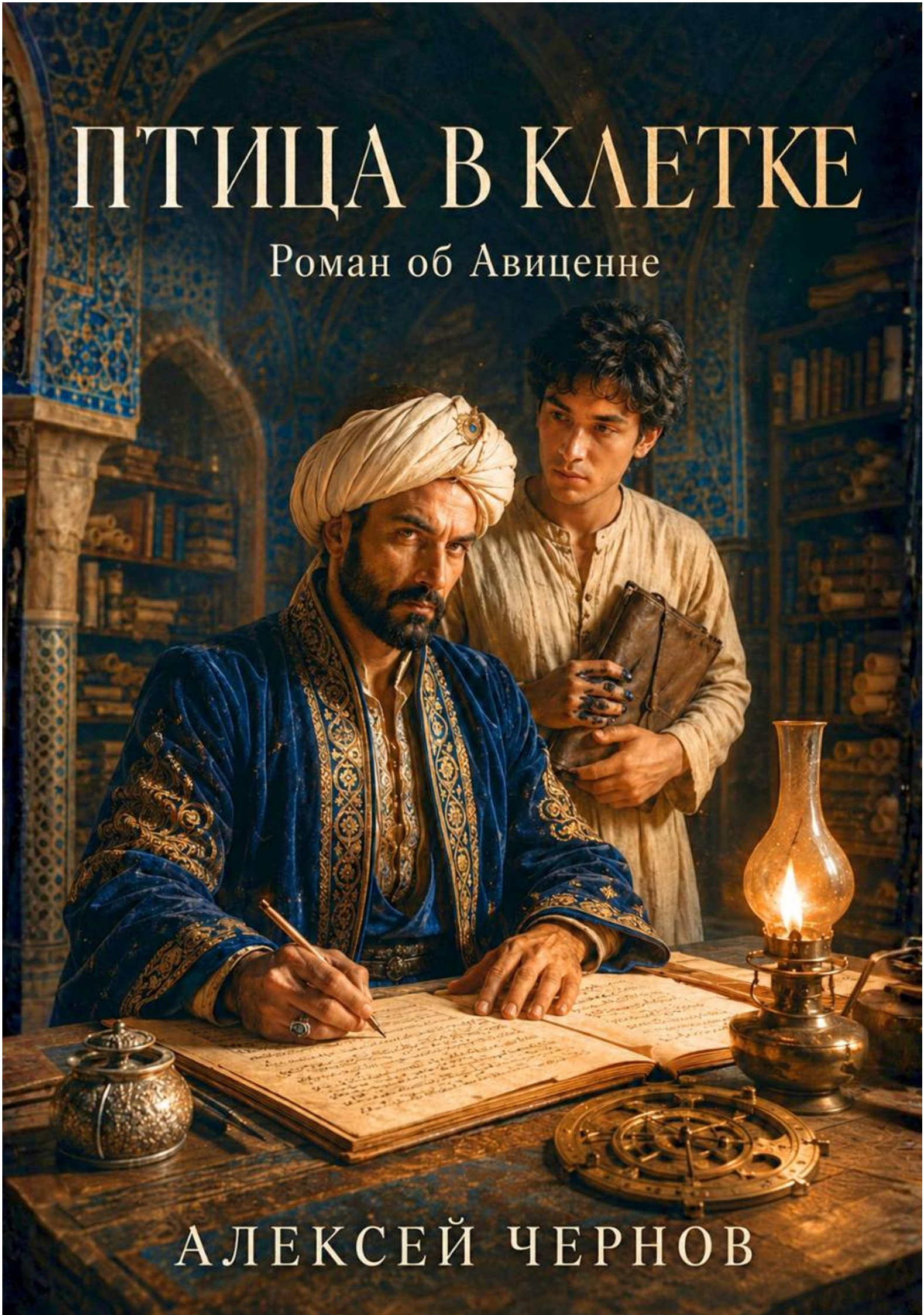
ПТИЦА В КЛЕТКЕ
Роман об Авиценне
АЛЕКСЕЙ ЧЕРНОВ

Алексей Чернов

Птица в клетке. Хроника жизни Авиценны

«Автор»
2026

Чернов А.

Птица в клетке. Хроника жизни Авиценны / А. Чернов — «Автор», 2026

В семнадцать лет он спасает эмира, от которого отступились придворные врачи. В тридцать два за его голову назначен вес его тела золотом, а он бежит через раскаленную пустыню с другом, который не переживет этой дороги. В пятьдесят семь он диктует финал «Канона», чувствуя, как немеет рука, державшая тростниковое перо всю жизнь.Ибн Сина, известный миру как Авиценна. Врач, философ, визирь, узник и беглец. Человек, знавший об устройстве тела все, но бессильный перед собственной болезнью.Это роман о мыслителе, за которым охотился самый грозный завоеватель эпохи. О дружбе, оплаченной молчанием у пересохшего ручья. О матери, которая годами ждала сына и ставила на стол лишнюю миску. О слуге, чье предательство так и не назвали вслух. О том, что знание не избавляет от одиночества, но дает право уйти с достоинством.Тридцать глав. Одна жизнь. Выбор, который звучит так, будто сделан вчера.

© Чернов А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Ночь, когда рухнул мир 5
Глава 2. Мальчик, который победил мудрецов 11
Глава 3. Сорок шагов в темноте и три дирхема 17
Глава 4. Цена за жизнь эмира 23
Глава 5. Лабиринт мудрости 29
Глава 6. Ночь, когда горели книги 34
Глава 7. Прощание с Бухарой 39
Глава 8. Встреча двух солнц 43
Глава 9. Ультиматум из Газны 47
Конец ознакомительного фрагмента. 50

Алексей Чернов
Птица в клетке. Хроника жизни Авиценны

Глава 1. Ночь, когда рухнул мир

Канава воняла. Густо, кисло, с привкусом гнили. Ибн Сина лежал на боку в этой жиже, вжимаясь щекой в мокрую глину, и считал шаги.

Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать.

Конные с поста прошли так близко, что он разглядел заклёпки на сапоге ближнего. Факел бросил рыжее пятно на стену и уплыл дальше. Лай собак удалялся к загонам. Ищейки взяли ложный след.

Он выдохнул медленно, через нос, чтобы не закашляться.

Ещё летом он сидел в зале маджлиса, и факихи не смели перебивать его речь. Ещё летом на полированном столе стояла серебряная чернильница, а Джузджани затачивал третий калам за вечер и не поспевал за его мыслью. Ещё летом он был визирем Хамадана.

А теперь лежал в канаве. Грязь холодила щёку сильнее, чем полагалось бы для поздней осени. Снег остался наверху, за перевалом.

Ибн Сина поднялся на четвереньки, упёрся ладонями в глину. Плащ, короткий не по росту, тянул к земле. Грубая дервишская шерсть набрала воды, колючая ткань впивалась в шею. Он стянул капюшон ниже, закрывая лицо, и двинулся вдоль стены, пригибаясь.

Стена из пахсы, сырцового кирпича, потемневшего от дождей, шла вдоль дороги и обрывалась у старого пролома. Осенью его вели здесь в кандалах, и он запомнил эту стену до последнего камня. Раствор выкрошился. Кладка расшаталась.

Пролом оказался теснее, чем он помнил. Ибн Сина протиснулся боком, зацепившись плащом за острый край. Ткань треснула. Серебряный перстень отца съехал к суставу, когда рука перехватила камень: за месяцы в башне палец стал тоньше. Пальцы, заметил он мельком, были в чернилах. Отмыть было негде.

Теперь он лез через стену, как вор.

Последний рывок. Он перекатился на ту сторону, упал на жёсткую землю, ободрал локоть. Встал, отряхнул колени, оглянулся.

Пост остался за стеной. Огни факелов, лай, окрик через двор, стук ворот. Подняли всех. Ищут. Его ищут.

Ибн Сина повернулся к посту спиной и пошёл.

Селение при посте тянулось долго. Глухие глинобитные заборы, запертые ставни, тёмные проулки. В одном шевелились бродячие псы. Один выскочил из-за угла, оскалился, но отпрянул от чего-то в походке этого странного человека в дервишском плаще. Ибн Сина не замедлил шаг.

Он шёл быстро, не оглядываясь, считая повороты. Налево у гончарной мастерской. Прямо мимо колодца с разбитым журавлём. Направо у пустого караван-сарая, где давно не топили, и стены покрылись тёмной плесенью.

У самого поворота он споткнулся о камень, которого не помнил. Постоял, растирая ушибленную голень. Осенью камня тут не было. Или был, но тогда он смотрел не под ноги, а на конных по сторонам.

Селение спало или притворялось, что спит.

Уговор был простой. Пост обойти порознь, сойтись за перевалом, у первого жилья по исфаханской дороге. Двое на дороге приметнее одного. Джузджани не спорил, только переложил овчину с чистовиком повыше и ушёл в темноту первым.

Мысли лезли сами. Разбор шёл в диване, при двух окнах на запад, и предвечернее солнце лежало полосой через ковёр. Тахир читал обвинение с листа, держа его далеко от глаз, читал долго, наслаждаясь каждой строкой. «Философ ставит разум выше Откровения. Его присутствие при дворе оскорбляет веру правоверных».

— Ваше обвинение построено на ложном силлогизме, — сказал он тогда. — Разум не противоречит Откровению. Он его объясняет. Если это вас оскорбляет, дело не в разуме.

Диван замер.

Тахир опустил лист и не нашёл слов сразу. Хаджиб Хосров стоял у стены и в разговор не входил. Сама ад-Даула смотрел не на лист, а на него самого, и в этом взгляде не было злобы, только счёт.

— Разве нельзя было иначе? — спросил наследник, глядя мимо, на резной узор дверного проёма.

— Можно было, повелитель. Но не мной.

К вечеру Хосров подписал приказ. Не о суде. О крепости.

Шамс ад-Даулу он поднял с постели, с которой хамаданские лекари уже не брались его поднимать. Пульс тогда был скачущий, слабый, но живой. Эмир ходил через месяц, через три подписал указ о назначении своего врача визирем. Летом эмир умер в походе, и всё, что было куплено той ночью, кончилось вместе с ним.

Ибн Сина миновал последние дома. Дорога, обсаженная голыми тополями, уходила вниз. Поздняя осень оголила деревья и холмы. Ветер ударил в лицо, холодный и сырой. За спиной догорали огни поста.

Он поправил сумку на плече. Лямка уже начала натирать ключицу. Старая мозоль ушла за годы визирства.

В сумке лежало всё его состояние. Глиняная чернильница, завёрнутая в тряпку, чтобы не разбилась. Два тростниковых калама. Моток бумаги. За пазухой — девять листов, исписанных в башне, и медный футляр с ланцетом и щипцами. Хлеб кончился вчера.

Визирю полагались караваны с шёлком и мускусом. Беглецу — сумка через плечо.

Он прошёл, наверное, тысячу шагов, когда впереди на обочине увидел человека. Согбенная фигура сидела у затухшего костерка, обхватив руками колени. Рядом лежала жердь с узелком. Пастух или бродячий торговец, из тех, что ночуют где придётся.

Ибн Сина хотел обойти его стороной, но старик услышал шаги и поднял голову.

— Далеко идёшь, добрый человек?

Голос сиплый, простуженный. Ибн Сина замедлил шаг, но не остановился.

— Далеко, отец.

— Оно и видно, что далеко. Кто в такую ночь близко ходит. — Старик кашлянул, вытер рот тыльной стороной руки. — Присел бы. У меня уголья ещё живые. Погрелся бы.

— Меня ждут.

— Ждут. Ну да. — Старик хмыкнул и снова закашлялся. — Меня тоже когда-то ждали. Ты, добрый человек, слышь. Там впереди у второго поворота псы. Плохие. Дервиша прошлой недели цапнули за ляжку.

— Спасибо, отец.

— Не за что. Ты дай мне что-нибудь. Кусок хлеба. Или так, монету.

Ибн Сина остановился. Дирхемов у него не было. Всё, что оставалось, унёс с собой Джузджани. Он развёл руки, показывая пустые ладони.

— Прости, отец. Нечего.

Старик посмотрел на него внимательнее, задержался глазами на плаще, на сумке, на перстне. Ибн Сина спрятал руку за спину, но было уже поздно.

— Ну не серчай. — Голос старика стал ровнее, суше. — Иди с миром.

Он проводил его взглядом до самого поворота. Ибн Сина знал этот взгляд. Так смотрят люди, которые запоминают. За стакан вина в караван-сарае завтра утром они расскажут всё, что видели. Плащ, сумку, чужака с тревогой в шаге.

Он повернул руку так, чтобы отцовская печать оказалась ладонью внутрь. Голое место на пальце сразу стало холодным.

Топот он услышал раньше, чем увидел всадника. Глухой, ритмичный стук копыт по утоптанной глине. Одна лошадь, тяжёлая, боевая.

Ибн Сина метнулся к скале у обочины и вжался спиной в холодный камень. Сердце колотилось у горла так, что сосчитать удары не удавалось с первого раза. Пальцы сами нашли запястье. Привычка врача, которую не мог отключить даже страх.

Сто шестьдесят, может, больше. Бег, лазание через стену. Тело откликалось на всё разом.

Всадник вынырнул из темноты. Сначала тень, потом силуэт, потом лицо в свете луны. Широкие плечи, кольчуга поверх стёганого халата, сабля у бедра. Ибн Сина узнал его и похолодел. Кутлуг, старший конвоя, который вёл его в Фердаджан.

Бежать было некуда. Справа скала, слева обрыв, впереди всадник. Ибн Сина выпрямился, отряхнул грязь с плаща. Если его возьмут, он не будет стоять на коленях. Это единственное, что он мог себе пообещать этой ночью.

Кутлуг осадил коня в трёх шагах, спрыгнул тяжело, по-солдатски. Конь всхрапнул, переступая копытами. Несколько мгновений двое стояли друг против друга.

— Хаким, — произнёс Кутлуг негромко.

Ибн Сина не ответил, ждал.

Кутлуг положил ладонь на рукоять сабли, убрал, снова положил. Рука не находила покоя, спорила с хозяином. Свет луны падал ему на щёку, и старый шрам под скулой казался темнее, чем при свете дня.

— Три года назад, — сказал он наконец, и голос был глуше, чем полагалось командиру, — я корчился на полу у себя в доме. Три дня не мог есть. Лекари эмира приходили, качали головами. Один шептал матери, что это шайтан. Другой велел молиться и готовиться. А потом привели тебя. Ты положил руку мне на живот и сказал: «Это не шайтан. Это камень. Я его выну».

Пауза. Ветер трепал гриву коня.

— И вынул.

Кутлуг поднял на него глаза.

— Из крепости выслали конных по трём дорогам. Меня послали на эту, потому что я тебя видел в лицо. Больше там никто не знает, кого ищет. И приказ у меня, хаким. Вернуть тебя в крепость. Живым.

— Я знаю.

Кутлуг помолчал долго. Потом сунул руку в седельную сумку, вытащил кожаный бурдюк, протянул беглецу. Вода.

— Я ничего не видел, — сказал он. — Я проехал этой дорогой и не встретил никого. Иди, хаким. Скажу, что след потерялся у оврага.

Ибн Сина взял бурдюк. Руки не дрожали. Это он отметил с профессиональным удовлетворением. Пульс начал выравниваться.

— Кутлуг.

— Что?

— Если камень вернётся, пей натощак отвар ячменя с мятой. Каждое утро. Не пропускай.

Кутлуг хмыкнул. Что-то похожее на улыбку тронуло его обветренное лицо и тут же ушло.

— Каждое утро. Хорошо.

Он развернул коня, но у самого поворота придержал поводья и обернулся.

— Хаким. Ученик твой. Тот, тихий, с сумкой через плечо. Он с тобой?

— Он идёт своей дорогой.

— Пусть идёт быстро. Ищут двоих. — Кутлуг тронул повод и не тронулся с места. — И вот ещё. В крепость приезжал человек. Один, без свиты, с золотом под седлом. Долгий такой. Молчаливый. Он не из наших и не от эмира.

— Я знаю таких.

— Ну да. Ты всех знаешь.

Кутлуг не стал ждать ответа. Ударил коня пятками, и топот растаял в темноте, за поворотом дороги.

Ибн Сина стоял, прижимая бурдюк к груди. Вода булькала внутри. Он подождал, пока сердце не успокоится, потом поднял глаза к небу.

Султан Махмуд не забывает.

Двадцать лет султан Газневи собирал учёных со всего Востока. Кого приглашал с почестями, кого покупал, кого забирал силой из побеждённых городов. Бируни уехал к нему добровольно и принял плен как судьбу мыслителя. Ибн Сина отказался. Дважды. Султан не простил ни того, ни другого раза.

За его голову назначена награда, равная весу его тела золотом. И на каждом постоялом дворе, у каждых городских ворот его лицо смотрит с гвоздя.

Он повернул руку обратно, ладонью вверх. Серебро тускло блеснуло в лунном свете. Простая печать, без камня, без украшений. Абдаллах надел её сыну в день, когда мальчик впервые перевёл трудную страницу из Аристотеля. «Носи, — сказал он тогда. — Чтобы помнить, откуда ты».

Отца давно нет. Бухары нет. А кольцо осталось.

Дорога уходила на юг, к перевалам, за которыми лежал Исфахан. Камни под ногами были гладкими и холодными. Ветер усиливался, загоняя сухие листья в трещины скал. Где-то вдалеке кричала ночная птица, коротко, сипло.

Ибн Сина шёл и думал о том, что всю жизнь бежит. Из Бухары его выгнало обвинение в поджоге библиотеки. Из Ургенча — ультиматум султана Махмуда. Из Мерва он ушёл среди ночи, не назвавшись своим именем. Из Абиварда — потому что хозяин постоялого двора узнал его в лицо. Из Горгана бежал от людей, обложивших дом покровителя. Из Рея — после того как из-за него едва не началась война с Газной. Теперь из Хамадана.

Семь городов. Ни один не стал домом.

Каждый раз повторялась одна и та же история. Он приходил, лечил правителя, спорил с богословами, писал по ночам. Правители осыпали его почестями и халатами. Потом факихи начинали шептаться в мечетях. Потом военные поднимали бунт. Потом приходил приказ. И он снова шёл по ночной дороге с сумкой через плечо, в которой лежала недописанная книга.

Отец предупреждал: «Твой ум, сынок, острый нож. Помни, что нож режет и того, кто его держит». Он говорил это, глядя на десятилетнего сына поверх раскрытого свитка. Тогда мальчик не понял. Теперь понимал.

Он остановился, сел на плоский камень у дороги, попробовал отвинтить крышку бурдюка. Не сразу поддалась. Горловина разбухла, кожаный ремешок затянулся туго. Он поддел ногтем, крышка сорвалась, часть воды пролилась ему на плащ. Ибн Сина замер, глядя на тёмное пятно, расползающееся по ткани. Половина фляги.

Три глотка, не больше. Он аккуратно затянул ремешок обратно. Неизвестно, когда будет следующий колодец.

Мысли, обычно послушные, разбегались. Только один вопрос стоял и не уходил. Примет ли его эмир Исфахана?

Ала ад-Даула. Какуйидский правитель. Покровитель наук. Говорят, он собирает маджлис каждую пятницу и не боится ни богословов, ни Газны. Говорят.

Ему говорили то же самое про Ургенч, про Рей, про Хамадан. И ни в один из этих городов его не звали письмом.

Он подумал о Джузджани. Овчина с чистовиком у ученика на груди, под рубахой. Если возьмут его, возьмут и книгу.

Ибн Сина поднял голову. Звёзды горели крупно и холодно. Ветер нёс запах пыли и сухой полыни. Где-то за перевалами, за днями пути, лежал Исфахан.

Сорок три года. Возраст, в котором мужчина должен иметь дом, сад, жену и детей. Возраст, в котором учёный диктует ученикам итоги трудов. А не сидит на придорожном камне в грязном плаще, гадая, примет ли его следующий город.

Ибн Сина встал, закинул сумку на плечо. Лямка легла на прежнее место, там, где уже начало саднить. Он поправил её, стянул капюшон плотнее и пошёл дальше.

Небо на востоке посерело раньше, чем он рассчитывал. Дорога вела вниз, в неглубокую балку, и на её дне слышался слабый плеск. Ручей.

У ручья возился человек. Пожилой, в бурой шерстяной куртке, с двумя пустыми бурдюками у ног. Мул, привязанный к чахлому кустарнику, лениво жевал жухлую траву и пофыркивал. Водонос погружал бурдюк в воду, придерживал, ждал, пока наполнится, вытаскивал, ставил рядом. Всё как вчера. И как завтра.

Он поднял голову на шаги, посмотрел на пришельца равнодушно, без интереса. Один взгляд, и всё, что нужно было понять, он понял. Не разбойник, оружия нет, идёт своим ходом.

— Здоров будь, — сказал водонос и вернулся к бурдюку.

— И тебе, — ответил Ибн Сина.

Он присел у ручья с другой стороны, зачерпнул воды пригоршней, ополоснул лицо. Вода была ледяная. Пальцы сразу занемели. Он умылся ещё раз, растёр щёки. Грязь с плаща сошла плохо, тёмное пятно от ночной канавы осталось на боку.

— Далеко идёшь? — спросил водонос, не поворачиваясь.

— В сторону Исфахана.

— Ммм. — Водонос поставил полный бурдюк, взялся за второй. — Далеко. Через какие пойдёшь?

— Через какие короче.

— Короче через Буруджирд. Только там сейчас пески несёт, дороги нету. Через Нехавенд длиннее, но верней. Дня четыре, если пешком. Если ноги молодые.

— Ноги немолодые.

Водонос хмыкнул.

— Тогда шесть.

Он вытащил второй бурдюк, посмотрел его на просвет, зачем-то встряхнул, снова опустил в ручей.

— А ты, добрый человек, дервиш или как?

— Или как.

— Ну да. Дервиш бы не спрашивал.

Ибн Сина не ответил. Ополоснул руки ещё раз, отошёл на шаг, отряхнул капли.

— Слышь. — Водонос вдруг посмотрел на него в упор. — У меня хлеб есть. Половина лепёшки. Со вчера, засохла, ну да зубы есть, обгрызёшь. Дать?

— А что взамен?

— А ничего. — Водонос пожал плечами, снова отвернулся к воде. — Дороги длинные. Я к вечеру дома, у меня жена, у меня хлеб. А ты идёшь. Мне не жалко.

Он завозился в свёртке у мула, вытащил тряпицу, размотал. Половина лепёшки, действительно засохшая, с загнутым краем.

Ибн Сина принял её обеими руками.

— Спасибо, отец.

— Не отец я тебе. Мне сорок два.

Водонос сказал это без обиды, ровно. Ибн Сина усмехнулся сам себе. Сорок три и сорок два. Тот же возраст, тот же ветер, одна и та же дорога. Только один везёт воду, а другой уносит книгу.

Он спрятал лепёшку в сумку, поклонился и пошёл вверх по склону, к дороге.

Наверху остановился, оглянулся. Водонос уже приторачивал бурдюки к спине мула, переставлял их с боку на бок, прикидывая, чтобы легло ровно. Он не смотрел вслед.

Глава 2. Мальчик, который победил мудрецов

Базар оживал с первыми лучами, пока солнце ещё не поднялось над стенами Бухары. Хусейн стоял в тени навеса, вслушиваясь в каждое слово учителя Натили. Тот развернул перед небольшой толпой свиток и с обычным своим артистизмом излагал логическое доказательство.

Голос у Натили был сильный, хорошо поставленный. Сразу видно, человек привык выступать перед большими собраниями. Мальчик знал эту манеру наизусть. Сначала общее утверждение. Затем пример. В конце вывод, который учитель произносил с такой интонацией, что слушатели невольно кивали, ещё не успев осмыслить сказанное.

Сегодня вывод был ошибочным.

Хусейн заметил это сразу, но молчал, давая учителю закончить первый круг рассуждений. Потом второй. Он наблюдал торговца шёлком за спиной Натили. Тот кивал каждому слову. Двое старших учеников перешёптывались и впитывали всё подряд.

За соседним прилавком водонос спорил с покупателем. Тот совал ему медную монету, покачивая головой, водонос отталкивал её кулаком.

— Так не пойдёт, брат. Так не пойдёт. У меня вода из Абу-Ханифа, чистая. За такую и три дают.

— Три давали при твоём деде. Сейчас две.

— Дед был прижимист. А я не дед. Я лучше вылью.

И правда чуть не вылил. Хусейн скосил глаза на них и снова вернулся к учителю. На третьем круге терпение мальчика иссякло.

— Здесь ошибка, хазради, — произнёс он негромко.

В базарном гуле его голос прозвучал неожиданно чётко.

Чётки в руках Натили замерли.

— Что ты сказал?

— Ваше условие ложно.

Хусейн шагнул ближе и показал учителю свою табличку. На ней ещё утром были записаны все посылки, все шаги, все выводы. Пока учитель говорил, мальчик выводил цепочки мыслей на воске и проверял стык за стыком.

— Вы используете то, что нужно доказать, как уже доказанное.

Несколько торговцев прервали свои разговоры. Кто-то из старших учеников усмехнулся, ожидая, что Натили осадит десятилетнего смельчака одним лишь взглядом. Но учитель молчал и вглядывался в записи на табличке. Молчание затягивалось, становясь неловким.

— Покажи, — наконец произнёс он.

Хусейн указал стилом на две строки, где посылка незаметно превращалась в собственное следствие. Голос его не дрожал, хотя сердце билось так сильно, что отдавалось в ушах. Чувство было знакомо ему с семи лет, когда первые суры легко ложились в память. Мысль складывалась в безупречную цепочку, гладкую и нерушимую.

Толпа замерла, потом кто-то рассмеялся. Не зло, изумлённо. Смех быстро распространился, перескакивая от прилавка к прилавку.

— Хазради вон малой поправил! — крикнули с дальнего конца ряда.

— Какой малой?

— Абдаллаха-казначея сын. Десять годов. Прям при всех.

— Гха-а-а. — Кто-то невидимый шумно втянул воздух через ноздри. — Это неспроста.

Натили убрал табличку в сумку, будто прятал улику. Лицо его побледнело.

— Довольно, — бросил он и повёл плечом, не глядя на Хусейна. — На сегодня урок окончен.

Он двинулся сквозь толпу к главному ряду, но у прилавка с медной посудой задел рукавом низкий поднос. Пара пиал скатилась на утоптанную землю, одна треснула. Хозяин прилавка выскочил из-за угла и уже открыл рот, но, увидев учителя, только развёл руками. Натили не остановился, не обернулся, ушёл дальше.

Хусейн стоял, зажимая табличку локтем. Он не мог понять, что чувствует. Гордость или вину. Но промолчать, когда слышит ошибку, он не мог.

Кто-то из торговцев легонько ткнул его в плечо.

— Иди, малой. Иди отсюда. Ты сегодня своё сделал.

Хусейн пошёл. За спиной у него ещё смеялись, и это было хуже похвалы.

По дороге к пряному ряду стояли клетки, поставленные одна на другую. В нижней сидела перепёлка, боком к прутьям. Продавец плеснул на неё водой из пиалы, и она не двинулась.

Хусейн шёл вдоль пряного ряда, где утром пахло куркумой, шафраном и чёрным перцем. Мать вчера просила взять щепоть шафрана. Последнее у неё уходило. Он остановился у прилавка знакомого, старого Юсуфа, который никогда его не обижал ценой. Тот отвешивал шафран на маленьких медных весах.

— Слышь, малой. Ты, говорят, сегодня на базаре шумел.

— Не я шумел, хазради.

— Ну да. Не ты. — Юсуф ссыпал шафран в тряпицу, аккуратно перевязал ниткой. — А знаешь, что тебе старики скажут? Молчи, малой. Слушай и молчи. Пока борода не выросла, у тебя нет мнения. У тебя есть уши.

— А потом?

— А потом уже поздно. Потом у тебя мнение уже без хозяина.

Юсуф хмыкнул, довольный своей мыслью, и подал тряпицу.

— Возьми. Полдирхема. Матери отдай, она понюхает и скажет, какой у Юсуфа шафран.

Хусейн отсчитал монеты. Юсуф пересчитал их на ладони, подкинул, положил в поясной кошель.

У выхода с ряда сидел на корточках кузнец с обожжённой правой рукой. В левой держал ремешок, чинил лямку старого мешка. Работал молча. Хусейн замедлил шаг, посмотрел на движение единственной руки. Она зажимала кожу коленом, петля затягивалась зубами. Кузнец поднял глаза.

— Что смотришь? Не видел одноруких?

— Не видел.

— Ну смотри. Учись. Мало ли, вторая рука тоже пригодится.

Он произнёс это без обиды, скорее с усмешкой. Хусейн пошёл дальше.

К дому мальчик подошёл, когда солнце уже поднялось высоко. Тень от стены была короткая, и он подумал, что мать снова будет ругать за то, что ходил без шапочки.

* * *

Дом Хусейна стоял в квартале, где жили саманидские чиновники. Глинобитные стены, высокие ворота, внутренний двор с молодым тутовником, посаженным ещё до его рождения. Мальчик вошёл через задние двери, стараясь незаметно проскользнуть в свою комнату, но голос отца настиг его в коридоре.

— Ты уже дома? Быстро для урока с Натили.

Хусейн остановился и обернулся. Отец сидел на террасе, поджав ноги на курпаче. Перед ним лежал раскрытый счётный свиток с доходами с земель, которыми Абдаллах управлял для наместника. Короткие сильные пальцы крутили калам, не касаясь бумаги. Так он делал всегда, когда цифры не сходились.

— Урок закончился раньше, — ответил Хусейн.

— Почему?

Он мог бы соврать. Сказать, что устал или у него разболелась голова. Но лгать отцу он не умел. Никогда не умел.

— Я поправил хазради Натили. При всех, на базаре.

Калам в пальцах отца замер.

— Поправил? В чём?

— В логике. Он строил доказательство через круг.

Абдаллах отложил свиток и долго смотрел на сына. Гнева во взгляде не было. Было удивление, будто отец впервые заметил, что в доме растёт не тот ребёнок, о котором он думал.

— И что сказал Натили? — спросил Абдаллах.

— Ничего. Собрал вещи и ушёл.

Отец медленно кивнул.

— Он приходил ко мне вчера вечером. Просил освободить его от занятий с тобой.

Что-то у Хусейна внутри качнулось. Не от страха потерять учителя, а от странного, стыдного облегчения. Неужели то, что происходило в его голове само собой, могло стоить взрослому человеку места и жалованья?

— Он сказал: мне нечему больше учить твоего сына. Сказал без злобы. Скорее с облегчением. С таким лицом человек сбрасывает груз с плеч.

Во дворе плескалась вода в глиняном хаузе. Где-то за стеной кричал разносчик лепёшек. Запах свежего теста на мгновение перебил горечь чернил, въевшуюся в пальцы мальчика.

— Значит, я сделал что-то плохое? — тихо спросил Хусейн.

— Ты сделал то, что не умеешь не делать. — Отец помолчал. — Это не одно и то же с «плохое». И не одно и то же с «безопасное».

Он произнёс это ровно. Хусейн не сразу понял, что отец не отчитывает его, а предупреждает.

* * *

Мать нашла его во дворе, у хауза. Хусейн сидел на бортике и смотрел, как рыба в мутноватой воде поднимается к самой поверхности и уходит обратно вниз. Он думал о доказательстве Натили и о том, где именно посылка перескочила в вывод.

Мать села рядом. Не сразу заговорила. Расправила подол платья на коленях, поправила прядь под платком.

— Опять на солнце без шапочки. Голова разболится. Я тебе говорила.

— Мама, я под навесом был.

— Под навесом. — Она чуть улыбнулась. — Тень там короткая, а ходишь ты долго.

Мать взяла его за руку. Пальцы у неё были тёплые, суховатые, с тонкими морщинами у основания. Хусейн заметил это в первый раз. Раньше он не смотрел на руки матери отдельно от неё самой.

— Отец мне сказал.

— Про урок?

— Про урок.

Она погладила его пальцы, разжала кулак, повернула ладонь вверх, всмотрелась, будто искала на ней что-то. Не нашла, отпустила.

— Хусейн. Ты мне обещай.

— Что, мама?

— Возвращайся домой. Всегда. Куда бы ни пошёл. Что бы ни было в городе. — Она смотрела не на него, а на воду в хаузе. — Возвращайся. Даже если поздно. Даже если ругать буду. Возвращайся.

— Я всегда возвращаюсь.

— Ты пока всегда возвращаешься. Ты пока маленький. Дальше базара не ходил.

Она сказала это ровно, без укора. Хусейн промолчал. Он не знал, что на это ответить.

— Я обед приготовила. — Мать поднялась, отряхнула подол. — Иди умойся. Отец сегодня не есть будет, я вижу. А ты ешь. Тебе расти.

Она пошла к дому. У самой двери обернулась.

— И ещё, Хусейн. Ты умный. Все говорят, умный. А ум — это как нож. — Мать чуть запнулась, подбирая слово. — Мама не про мудрое. Мама про то, что резать можно не только чужое. Своё тоже.

Мать зашла в дом, но через минуту вернулась. В руке у неё был сложенный вчетверо платок из плотного тёмного полотна.

— На. Возьми.

— Зачем?

— Затем. — Она взяла его руку, сунула платок в ладонь, сжала пальцами. — Пощупай угол.

Хусейн пощупал. В углу платка что-то зашито. Маленькое, круглое, твёрдое. Монета.

— Мама, у меня же кошель есть.

— В кошеле лежит на виду. А это — не на виду. — Она посмотрела ему в глаза серьёзно, без улыбки. — Мама может не всегда рядом. Ты, когда будешь один, вспомни: угол платка. Там дирхем. Один. На хлеб хватит.

— Куда я денусь один?

— Не знаю. Никуда. Дай Всевышний, никуда. Я просто скажу.

Она снова ушла к дому. Хусейн смотрел ей вслед и первый раз заметил, что мать невысокая. Ниже него уже на полголовы, если бы стояли рядом. Раньше она была большая.

Он положил платок за пазуху. Твёрдый угол лёг у самых рёбер.

* * *

Слух долетел до дома на третий день. Его принёс сосед-торговец, который обычно продавал Абдаллаху зерно для конюшни. В этот раз он пришёл не по делу. Сосед остановился у ворот и внутрь не пошёл, словно тревога, которую он принёс, могла быть заразной.

— В мечети говорят про твоего мальчика, — сказал он, понижая голос, хотя вокруг никого не было. — Кадий Абу Бакр созывает богословский совет.

Абдаллах не изменился в лице, но пальцы, лежавшие на притолоке, сжались чуть крепче.

— Какой совет?

— Аль-Варрак говорит… ну как говорит. Не сам говорит. Через своих. Что ребёнок, который поправляет взрослого учёного перед толпой, ставит свой разум выше учения предков. Опасный, говорит, пример.

— Ребёнок опасный?

— Ну а как. Сегодня, говорит, малой спорит с логикой Натили. Завтра будет спорить с шариатом.

Сосед оглянулся на пустую улицу.

— Ты, Абдаллах, знаешь. Я тебя знаю двадцать лет. Я не по злобе. Я так. Чтоб ты слышал.

— Слышу. Спасибо, Ибрахим.

— Ну да. Ну и вот. — Сосед потоптался ещё. — У меня, кстати, зерно новое пришло. Из Заравшана. Хорошее. Если что.

— Пришлёшь три мешка.

— Пришлю. Ну, я пойду.

Сосед ушёл. Абдаллах долго стоял у ворот, глядя на пыльную улицу.

Хусейн наблюдал за отцом из тени айвана. Он не слышал всех слов, но общий смысл понял.

Вечером за трапезой отец не притронулся к плову. Мать несколько раз пыталась заговорить о хозяйстве, но каждый раз умолкала. Абдаллах молчал, глядя в чашу с айраном. Не в мать, не в сына, в чашу.

Ужин закончился быстрее обычного. Мать убрала посуду, отец ушёл к себе. Хусейну велено было спать.

Он лёг, но сон не шёл. Курпача под спиной казалась жёсткой в местах, где раньше была мягкой. Одеяло тянуло на голову, потом опять сползало. Через какое-то время у мальчика начало ныть в правом боку. Он повернулся на левый. Ныть стало в левом. Он лёг на спину и стал считать балки на потолке. Одна, две, три, четыре. Пять. Начал заново.

Через стену доносились голоса родителей. Слов он не разбирал, но слышал тон.

Голос матери был выше, короче. Она много раз повторяла одно и то же слово. Какое, он не разбирал, но повторение слышал. Отец отвечал редко, глухо, длинно. Один раз он сказал что-то, от чего мать замолчала совсем. Потом она заговорила снова, тише.

Хусейн повернулся к стене и приложил ухо. Штукатурка была холодная. Слов он всё равно не различил. Только услышал, что мать плачет. Не громко, не в голос. Дыхание становилось короче и ровнее, потом сбивалось, потом опять становилось короче.

Он думал о доказательстве, которое разрушил на базаре. В его логике всё было верно. Посылка ложна, вывод ложен, ошибку следовало исправить. А ошибка учителя перед толпой могла привести к богословскому совету, детская дерзость — к семейной беде.

Этой второй логики никто ему пока не объяснял.

Он перевернулся на другой бок и стал считать шаги от своей комнаты до ворот. На случай, если однажды придётся уходить быстро.

Двадцать восемь.

* * *

Отец позвал его на рассвете, раньше обычного часа для уроков. Хусейн застал его одного в маленькой комнате, которая служила кабинетом. Свитки на полках, оплывший за ночь чираг, запах сажи и остывшего масла. Всё это смешивалось с прохладой раннего утра, когда город ещё не успел прогреться.

На низком столике перед отцом стояла нетронутая чаша с чаем. Тёмная плёнка успела затянуть поверхность. Абдаллах, значит, не ложился совсем.

— Сядь, — сказал он.

Мальчик сел на курпачу напротив, поджав ноги, как учили с детства. Он впервые заметил, что отец за ночь постарел. Под глазами залегли тени, у виска пульсировала жилка.

— Кадий соберёт совет через два дня. Я не знаю, чем это закончится. Может быть, ничем. Может быть, тебя вызовут для беседы. Может быть, потребуют, чтобы я держал тебя взаперти, пока ты не повзрослеешь и не научишься молчать. — Абдаллах помолчал. — Я не хочу, чтобы ты научился молчать.

— Тогда чего ты хочешь?

— Чтобы ты был осторожен. Не в мыслях. В том, где их высказываешь.

Отец снял с пальца серебряный перстень без камня, с истёртой печатью, и положил его на ладонь сына. Металл оказался тяжелее, чем можно было ожидать.

— Это перстень моего отца. Он носил его, когда служил чиновником при дворе, где одно неосторожное слово могло стоить головы. Он говорил мне: ум без осторожности — меч без ножен. Ранит того, кто его носит, раньше, чем врага.

Хусейн сжал ладонь. Он молчал.

— Я не отрекаюсь от твоего ума, — продолжил отец. — Я горжусь им больше, чем чем-либо на свете. Но с этого дня ты носишь не только доказательства Аристотеля. Ты носишь имя, которое я тебе дал, и это имя должно дожить до твоей старости.

Мальчик надел кольцо. Оно было велико для детской руки. Пришлось сжать кулак, чтобы не соскользнуло.

— Отец.

— Что?

Хусейн хотел сказать многое. Что он не хотел, чтобы Натили просил освобождения. Что он не собирался спорить с кадием. Что он вообще не понимает, как из его слов о посылке и следствии выросла целая тревога в квартале. Но всё это было длинно и не тем, что нужно.

— Я буду осторожен.

Абдаллах смотрел на него долго. Потом кивнул. Один раз.

За окном закричал муэдзин, зовя на утреннюю молитву. Отец поднялся и вышел, но у двери задержался.

— Кадий Абу Бакр не злой человек. Он боится. А испуганные люди опаснее злых. Злой знает, чего хочет. А испуганный не остановится, пока опасность не исчезнет полностью. Настоящая или придуманная, ему всё равно.

Он вышел. Хусейн остался сидеть с зажатым в кулаке металлом. Первый луч солнца упал на пол, разделив комнату на две части, тёмную и светлую. Мальчик сидел в тёмной. Металл в его руке нагрелся и стал жечь ладонь, но он не разжимал пальцев.

* * *

Через два дня в квартале судей кадий Абу Бакр аль-Варрак произнёс перед собранием богословов:

— Этот мальчик опасен. Он ставит разум выше учения старцев. Сегодня толпа смеётся вместе с ним. Завтра толпа перестанет бояться нас. Его нужно остановить, пока не поздно.

Слова эти повторили дважды.

Первым пришёл сосед Ибрахим, тот же, что и в прошлый раз. Утром, до жары. Топтался у ворот и почёсывал бороду.

— Абдаллах. Ну ты, конечно, знаешь уже.

— Не знаю. Скажи.

— Ну как. Кадий сказал, что мальчика надо остановить. Пока не поздно.

— Пока не поздно чего?

— Ну… не сказал он. Просто — пока не поздно.

Ибрахим не хотел уточнять. Он передал и ушёл, оставив за собой пыльный след.

Второго соседа Абдаллах не знал по имени. Тот пришёл ближе к вечеру, был пожилой, суетливый, торговал где-то на дальнем ряду. Он говорил громче Ибрахима и с большим удовольствием.

— Слышал? Слышал, что аль-Варрак сказал?

— Слышал.

— Ты не то слышал. Мне рассказали дословно. Он сказал: мальчик — семя фитны. И если семя не выкорчевать, то через десять лет мы получим бунтовщика. Прямо так и сказал. При всех.

— Кадий не мог такого сказать про десятилетнего.

— Мог, Абдаллах. Мог. Я знаю тех, кто слышал.

Абдаллах не стал спорить. Он поблагодарил и закрыл за соседом ворота.

Во дворе служанка снимала с верёвки простиранные тряпицы. Одна упала в пыль, служанка подобрала её, отряхнула, повесила снова. Тутовник бросал длинную тень. Из глубины дома доносился звон посуды. Мать готовила вечернюю трапезу.

Абдаллах постоял посреди двора с непокрытой головой. Низкое солнце било ему в лицо. Он этого будто не замечал.

Глава 3. Сорок шагов в темноте и три дирхема

Сорок.

Хусейн отложил свиток и потёр глаза кулаками, как в детстве. Сорок раз он прочитал «Метафизику» Аристотеля от первой строки до последней, и сорок раз мысль соскальзывала в одном и том же месте. Тропа упиралась в стену без ворот. Чираг чадил кунжутным маслом и бросал на побелённую стену дрожащую тень сгорбленной спины.

Что-то в первых главах ускользало упорнее прочего. Как рассуждать о бытии как таковом, если бытие не род, не вид, не свойство, а нечто, стоящее прежде самих этих понятий? Аристотель писал так, будто читатель стоит на вершине, откуда видно всё сразу. Хусейн стоял у подножия и не находил тропы наверх.

Он вспомнил Натили. Учитель, признавший, что учить больше нечему, ушёл шесть лет назад. Оставил после себя тонкую пыль на подушке и странное, почти постыдное чувство. Победу над тем, кого следовало почитать. Тогда всё было просто. Достаточно знать больше учителя, чтобы считаться сильным. Теперь напротив него сидел не Натили, а грек, живший тринадцать веков назад. И грек не собирался признавать поражение.

Коран лёг в память в десять лет, слово за словом. Дальше пошло легче: фикх, арифметика, врачевание Гиппократа и Галена. Он проглатывал трактат за трактатом, и учителя один за другим разводили руками. Оставался только этот свиток, который не сдавался.

Пальцы почернели от чернил. Полночи он переписывал спорные места набело в надежде, что рука поймёт то, чего не понимает голова. Он сжал край страницы так, что самаркандская бумага хрустнула, и отбросил свиток на курпачу.

Может быть, дело не в книге. Может быть, где-то в устройстве его разума не хватает одной детали, без которой чужая мудрость остаётся чужой.

Он выдохнул. Во рту стоял сухой ячменный привкус.

В дверь стукнули. Не тихо, а резко, тремя ударами подряд. Так стучат либо стражники, либо те, кому нечего терять от чужого сна.

Хусейн замер, глядя на дверь.

* * *

Это оказался отец.

Абдаллах вошёл, притворил за собой дверь и остался стоять у порога, кутаясь в накинутый на плечи халат.

— Опять не спишь.

— Не идёт, отец.

Абдаллах помолчал, разглядывая сына с усталой цепкостью старого чиновника, который привык читать между строк документов и между строк лиц.

— Сегодня один из соседей спросил меня, правда ли, что мой сын каждую ночь в одиночку ходит к Масджид-и Джами. Знаешь, что я ему ответил?

— Что это не его дело.

— Я ответил, что ты благочестивый юноша. — Абдаллах усмехнулся невесело. — Соврал наполовину. Ты благочестив не по той книге, которую читают в этом городе.

Хусейн промолчал. Смотрел на чадящий чираг и ждал, что ещё скажет отец.

— Я не прошу тебя бросить Аристотеля, — продолжил Абдаллах тише. — Прошу быть осторожнее с тем, кто об этом узнаёт. В Бухаре довольно одного раза выйти из дома ночью, чтобы про тебя начали говорить.

— Я никому не рассказываю.

— Тебе и не нужно рассказывать.

Отец коснулся его плеча, коротко, неловко.

— Тебя видят.

— Отец.

— Что?

— Кто именно видит?

Абдаллах не сразу ответил. Отошёл к чирагу, посмотрел на пламя, потом обратно на сына.

— Тебе шестнадцать. Ты уже не мальчик, чтобы я скрывал. Кадий не отступился от тебя. Он не забыл ту историю на базаре. Он ждёт. Годами ждёт. Кадий может ждать хоть двадцать лет, если чует правоту.

— Он думает, я подтверждаю ему правоту.

— Он думает, что подтверждаешь. — Отец помолчал. — А я знаю, что нет. Но между тем, что он думает, и тем, что я знаю, у него есть люди, а у меня нет.

Он повернулся и вышел, оставив дверь неплотно закрытой. Хусейн слышал, как отец прошёл по коридору, остановился у своей комнаты, что-то тихо сказал матери, потом наконец закрыл за собой дверь. Скрип петель. Тишина.

Хусейн долго смотрел ему вслед, потом повернул на пальце отцовский перстень. Привычка приходила сама, без спроса, стоило мыслям запутаться. Металл был тёплым от кожи, гладким там, где печать давно стёрлась.

Тебя видят. Отец сказал это как о деле решённом, будто уже знал, кто именно видит и что именно они делают с увиденным.

Другие юноши его возраста готовились к сватовству, торговали в отцовских лавках, учились держать саблю. Он торговал бессонными ночами за право понять то, что вокруг никому не было нужно.

* * *

Он поднялся, оставил чираг догорать и вышел в ночь. Улицы Бухары спали. Редкий фонарь ночного сторожа покачивался вдалеке, и по глинобитным стенам скользила длинная качающаяся тень.

Масджид-и Джами стояла в конце квартала. Пятничная мечеть, тёмная громада с бирюзовыми куполами, которые днём горели на солнце, а сейчас казались просто чёрными холмами на фоне чуть менее чёрного неба. Хусейн скинул сандалии у порога. Босые ступни, ступая по каменным плитам двора, помнили этот путь наизусть. Одна из плит была холоднее других. Он давно заметил, что именно эту плиту солнце не согревает даже к полудню, и теперь всегда искал её ногой в темноте, как искал бы знакомую монету в кошеле.

Внутри было пусто, только один старик застыл у дальней колонны, неподвижный. То ли молился, то ли уснул стоя. Хусейн прошёл в свой обычный угол и опустился на колени.

Он не просил богатства. Не просил славы. Он просил одного. Пусть придёт понимание. Пусть откроется дверь, за которой сорок раз пряталась «Метафизика».

Лоб коснулся холодного камня. Слова суры шли сами, без усилия. Между строк молитвы проскользнула тихая, почти детская мысль. Что, если Ты создал этот мир так, что разум действительно способен его прочитать? Мысль испугала его самого. Что, если книга Аристотеля — ещё один свиток, написанный Твоей рукой, только шифром, который он пока не знает?

Он тряхнул головой. В медресе спорили об этом до хрипоты, чей голос вернее, голос разума или голос Откровения. Хусейну, стоящему на коленях в пустой мечети, спор казался чужим.

Он не заметил, сколько простоял так. Когда поднял голову, тело затекло, а небо за куполами едва заметно посерело.

У выхода он остановился обуться. От колонны у дверей отделилась тень. Человек в тёмном плаще, лицо скрыто краем ткани. Хусейн замер с сандалией в руке.

— Далеко забрёл от дома, сын Абдаллаха.

Голос был ровный, немолодой, с лёгкой хрипотцой, какая бывает у людей, часто и подолгу молчащих. Хусейн выпрямился.

— Не далеко. Мечеть в моём квартале.

— Мечеть-то в квартале. А ходят в неё в свой час. В свой день. С отцом или со сверстниками. А ты один. И читаешь не то, что положено читать правоверному.

— Что положено читать правоверному, знает каждый ребёнок.

— Каждый ребёнок знает и то, что не положено. — Тень чуть шевельнулась. — Ты не ребёнок, сын Абдаллаха. Тебе не пять и не десять. Тебе шестнадцать. С шестнадцати спрос иной.

— Кто спрашивает?

Тень не ответила. Постояла ещё мгновение и скользнула за угол мечети. Пропала в переулке так же тихо, как появилась.

Хусейн стоял, сжимая в руке сандалию. Под рёбрами шевелился холод, не имеющий отношения к рассветному воздуху. Кадий не забыл. Совет богословов, который грозил ему в детстве, не забыл. Этот человек знал его имя. Знал имя отца. Знал, что он читает.

За ним не гнались открыто. За ним наблюдали, а теперь ещё и говорили с ним из темноты.

Домой Хусейн пошёл короткой дорогой, оглядываясь чаще, чем следовало бы шестнадцатилетнему.

* * *

Утром рынок Бухары уже жил своей жизнью. Крытые ряды тянулись далеко. Тут торговали шёлком из Хорезма, там самаркандской бумагой, сложенной стопками в человеческий рост, дальше глиняной посудой, наваленной так, что казалось, вот-вот рухнет. Мимо провели гружёного тюками верблюда, и толпа расступилась молча, привычно.

В птичьем ряду торговец сбрызгивал водой ивовые клетки, составленные одна на другую. Перепел в верхней сидел неподвижно. Хусейн прошёл мимо.

Он протолкался мимо рядов, где продавали дублёную кожу и горячую медь, мимо мясников с бараньими тушами, к дальнему углу, где старьёвщики раскладывали товар прямо на кошмах.

По пути его толкнули. Крепко, плечом, безо всякой злобы. Человек нёс на голове широкий поднос с горячими лепёшками и не рассчитал ширины ряда. Хусейн ойкнул, потёр локоть.

— Смотри, куда идёшь, малой, — буркнул несущий, не оборачиваясь.

— Я стоял.

— Тем хуже. Стоять на дороге у меня — опасное дело.

Лепёшки на подносе покачнулись, но удержались. Хусейн пошёл дальше.

Он приходил сюда не в первый раз. Здесь можно было найти то, чего не было в лавках уважаемых переписчиков: истрёпанные тетради студентов, вырванные страницы чужих библиотек, случайные обрывки чужой учёности, которые никто, кроме него, не считал сокровищем.

Один старик разложил перед собой целую груду ветхих свитков, придавленных для верности медным кувшином. Хусейн присел на корточки и стал перебирать их один за другим, без особой надежды, скорее по привычке.

Пусто. Комментарий к грамматике. Список чьих-то долгов. Обрывок стихов на фарси без начала и конца. Он собирался встать, когда пальцы наткнулись на нечто более тонкое, чем остальные свитки.

Рукопись лежала без обложки, с потёртым углом и мелким убористым почерком, каким пишут те, кто бережёт бумагу и не тратит её на широкие поля. Хусейн наклонился ближе. От свитка пахло старым купоросом и той особенной пыльной сладостью, какая бывает у бумаги, много лет пролежавшей в чужой библиотеке. Он развернул её и прочитал первую строку.

Уголок обложки отвалился ему в пальцы, тонкий, ломкий. Он подхватил его на ладонь, будто это могло что-то изменить. Не изменило. Обложки у свитка теперь совсем не было.

— Сколько за это? — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно.

Старик прищурился на свиток, потом на юношу, явно прикидывая, стоит ли товар того интереса, с каким на него смотрят.

— Пять дирхемов. Не торгуйся, мальчик, у меня семья голодная.

— Три. Обложки уже нет, углы сгнили, а середина, я же вижу, подмокла в трёх местах.

— Ты обложку сам сейчас и обломил.

— Она сама.

— Она сама. Ну да. Всё в этом мире само. — Старик засопел, взял свиток обратно, повертел его в руках. — Три с половиной.

— Три, — повторил Хусейн, не отводя взгляда.

— Ты, малой, торгуешься, как женский базар. У тебя борода-то есть?

— Пробивается.

— Пробивается. Три с половиной, малой. Мне за такой любой муллиный ученик четыре даст.

— Так дай муллиному ученику. А я пойду.

Хусейн приподнялся. Старик махнул рукой, скорее раздражённо, чем великодушно.

— Забирай. Мне сегодня всё равно нужно освободить кошму. Внуку старую бабку сюда сажать буду, торговать. А ты, малой, если что-нибудь путное найдёшь потом в этом свитке, знай: три дирхема мне отдал за целую жизнь чужого учёного. Не забывай.

— Не забуду, отец.

— Иди уж.

Хусейн отсчитал монеты. Отходя, он обернулся мимолётно, сам не зная зачем, и увидел у весов торговца пряностями фигуру в тёмном плаще, слишком неподвижную для базарной толчеи. Тот же плащ. Та же неподвижность.

Он не стал задерживаться, чтобы рассмотреть лицо под тканью. Прижал свиток к груди и пошёл прочь, петляя между рядами быстрее, чем шёл сюда.

Свиток жёг грудь через рубаху. Хусейн придерживал его локтем, как придерживают младенца.

У поворота на свою улицу он остановился, оглянулся ещё раз. Плаща не было. Может, померещилось. Может, отстал. Может, знает и так, куда он идёт.

Дома, за закрытой дверью, он развернул рукопись при свете дня и прочитал первую страницу.

Сердце споткнулось.

* * *

Это был Абу Наср аль-Фараби. Комментарии к «Целям Метафизики». Объяснение того, зачем Аристотель вообще написал то, что написал, прежде чем начать доказывать хоть что-то.

Ясность приходила медленно, но приходила. С первого же поворота мысли стало понятно, где он сорок раз бился в глухую стену. Вот в чём был секрет. Он ждал от книги ответа на вопрос «что есть мир?» и потому всякий раз спотыкался на тех местах, где Аристотель говорил не о мире, а о самом слове «есть».

Хусейн выдохнул. Аль-Фараби объяснял просто. Пока не разберёшься, что значит «быть» само по себе, нельзя всерьёз рассуждать ни о вечном, ни о временном, ни о душе, ни о теле.

Дверь, запертая сорок раз подряд, вдруг подалась.

Хусейн читал и читал, не замечая, что давно сидит на полу, поджав под себя ноги. Ладони вспотели, буквы поплыли. Он не стыдился слёз, впервые за долгое время.

Он вскочил и, не переодевшись, выбежал во двор. По дороге поцеловал переплёт. Привычку он перенял у отца, который целовал каждую новую книгу в доме прежде, чем поставить

её на полку. Отец, вышедший в этот час из дома, замер при виде его лица, заплаканного и сияющего одновременно.

— Что случилось?

— Я понял, отец. Наконец понял.

Абдаллах не спросил, что именно. Постоял и посмотрел сыну вслед.

У ворот квартала сидели двое нищих: слепой старик и женщина с ребёнком на руках. Хусейн высыпал в подставленные ладони всё, что оставалось в кошеле, до последней монеты.

— Хусейн-ака, — прошамкал старик. — За что, сынок?

— За то, что я счастлив, отец. Просто. Такое бывает не каждый год.

— Дай Всевышний тебе здоровья. Дай Всевышний. И этой руке, что даёт, тоже дай.

Женщина с ребёнком не сказала ничего. Только поклонилась низко, коснувшись лбом монеты в ладони.

Он смеялся вслух, один, посреди улицы, и ему было всё равно, кто это слышит.

И только на середине смеха он различил вдалеке новый звук. Частый, глухой топот копыт, несущийся к дворцовым воротам, и облако пыли над дорогой.

Он не придал этому значения. Мало ли кто спешит во дворец в базарный день.

* * *

В ворота дворца саманидского эмира въехал одинокий всадник, покрытый пылью долгой скачки. Стража расступилась, узнав ливрею гонца из загородной резиденции.

Во внутренних покоях, куда его провели без промедления, лекари эмира Нуха ибн Мансура стояли вокруг ложа. Не решались подойти ближе. Тело правителя покрывали тёмные пятна, кожа изнутри горела. Дыхание было частым, прерывистым, и с каждым часом всё тише.

Слуги жались к стенам, боясь встретиться взглядом с визирем, который расхаживал у входа в опочивальню, не решаясь ни войти, ни уйти. Никто не смел заговорить первым. Где-то за плотными занавесями послышался приглушённый всхлип. Должно быть, кто-то из гарема.

Один из лекарей, самый молодой, шёпотом сказал соседу:

— Хаким. Может, пиявок ещё поставить?

— Куда ставить. Ты руку его возьми, послушай. У него уже нечего оттягивать.

— А что же тогда?

— А тогда молись. Или уходи. Я не знаю, что тебе третье сказать.

Старейший из присутствующих, седой Абу Мансур, врач, служивший ещё отцу нынешнего эмира, наконец решился сказать то, что весь день боялись произнести вслух. Снадобье, поданное эмиру накануне, пахло не так, как должно пахнуть обычное лекарство от лихорадки.

— Отравитель? — шёпотом спросил визирь, не оборачиваясь.

— Я этого не сказал, повелитель.

— А чем это пахло, ты сказал?

— Я сказал, чем это не пахло.

Абу Мансур смотрел в пол.

Визирь остановился, вернулся, положил руку на плечо старика.

— Хаким. Найди мне того, кто сможет войти сюда и попробовать.

— Повелитель. Все, кого я знаю, стоят вокруг вас.

— Значит, найди того, кого я не знаю.

— Повелитель. С уважением. Тот, кого не знаешь, войдёт сюда только по одной причине. Ради платы, о которой сейчас с ним договоришься. И плата эта будет такая, что после спасения эмира лечить его придётся уже от щедрости, которую ты обещал.

— Ты мне торговаться сейчас предлагаешь, Абу Мансур?

— Я тебе жизнь эмира предлагаю сберечь. Каким угодно способом. Даже неудобным.

Визирь долго молчал. За окнами день клонился к вечеру. Тень минарета вытянулась и уже почти дотянулась до подоконника опочивальни.

— Хорошо. Ищи. Обещай что хочешь. За неудачу ответишь ты. За успех отвечу я.

Абу Мансур поклонился и пошёл к двери. У выхода задержался.

— Ещё одно, повелитель.

— Что?

— Ищи не среди тех, кто ходит по дворам знатных. Те придут только за платой. Ищи среди тех, кто читает по ночам.

— Читатели-то тут при чём?

— При том, повелитель, что читатель приходит за книгой, которая у нас во дворце. Не за золотом. С золотом мы потом договоримся.

Визирь смотрел на него долго. Потом кивнул один раз.

Абу Мансур вышел. За плотными занавесями снова кто-то всхлипнул. Один из молодых лекарей поправил подушку под головой эмира, стараясь не смотреть на тёмные пятна, проступавшие сквозь тонкую льняную ткань. Пятна становились шире с каждым часом.

Никто не сделал шага вперёд. Никто не взял на себя лечение человека, за чью жизнь теперь боялись отвечать собственной головой.

Слуга, стоявший у стены, тихо спросил другого:

— Как думаешь, до утра?

— До утра. Если повезёт, до полудня.

— А если не повезёт?

— А если не повезёт, брат, то мы с тобой уже сегодня будем искать новую работу. В лучшем случае.

Они замолчали. За окнами день клонился всё ниже.

Глава 4. Цена за жизнь эмира

Весть о болезни эмира дошла до их квартала на третий день. Её принёс молочник, который божился, что слышал это от слуги самого дворцового лекаря. Хусейн сидел во дворе с рукописью аль-Фараби на коленях, когда отец вернулся с базара с лицом человека, увидевшего дурной сон наяву.

— Нух ибн Мансур не встаёт, — сказал Абдаллах, опускаясь на курпачу. — Пятна по всему телу. Лекари приходят и уходят молча.

— Молча — это как? — Хусейн отложил свиток.

— Значит, боятся сказать вслух то, что думают.

Абдаллах потёр лицо ладонями.

— Яд, сынок. Все шепчут про отравление.

Три дня в квартале только и говорили, что о болезни эмира. Лавочники закрывали ставни раньше обычного. У мечети собирались кучками, понижая голос, стоило пройти мимо страже. Один водонос, которого Хусейн знал в лицо, вечером третьего дня остановил его у ворот.

— Слыхал, малой? Двор ищет.

— Что ищет?

— Ну кого. Лекарей. Всех подряд. Меня вон вчера спрашивали, нет ли у меня племянника учёного. Я говорю: нету. Он говорит: и хорошо, что нету. Значит, тебе за него отвечать не придётся.

Он ушёл, посмеиваясь своей же шутке. Хусейн стоял ещё минуту у ворот.

На четвёртый день пришёл человек в дорогом халате, слишком дорогом для их улицы, и спросил у соседей, где живёт мальчик, что превзошёл Натили. Хусейн узнал об этом раньше, чем увидел самого человека. Отец влетел в дом бледный.

— Двор ищет лекарей. Любых, даже мальчишек, если о них говорят.

— Я пойду, — сказал Хусейн.

Он произнёс это раньше, чем успел додумать мысль до конца.

— Нет.

Отец схватил его за плечо, крепче, чем когда-либо раньше.

— Ты понимаешь, куда идёшь? Если он не поднимется после тебя, спросят с тебя. Кадий давно ждёт повода.

— А если я не пойду и его не станет без меня, кто-то потом скажет: мальчик мог попробовать и не попробовал.

Отец молчал долго. За окном прокричал муэдзин, и в доме сделалось совсем тихо. Хусейн смотрел на отцовское лицо. Абдаллах постарел за эти три дня. Виски стали как посыпанные золой.

— Твоя мать не переживёт, если тебя схватят во дворце, — сказал наконец Абдаллах.

— Она не переживёт, если меня схватят где угодно. Дело не в месте.

Абдаллах не сразу ответил. Позвал жену:

— Ситора. Иди сюда.

Мать пришла из глубины дома, увидела лицо отца, лицо сына, ничего не сказала. Просто села на курпачу рядом. Пальцы её были в муке.

— Хусейн идёт во дворец.

Мать несколько мгновений смотрела в пол. Потом подняла глаза.

— Поужинал?

— Нет ещё.

— Идём. Поешь. Во дворце тебя никто ждать не будет с горячим.

Она встала, вытерла руки о тряпицу у пояса и пошла на кухню. У двери обернулась. Голос был ровный, но чуть выше обычного:

— Абдаллах. И ты иди. Хусейн один за столом не сядет.

Отец кивнул.

На кухне мать поставила перед сыном чашу с супом. Тем самым, с чечевицей, который она варила всегда, когда кто-то из домашних болел или уходил в дорогу. Хусейн узнал вкус, ещё не поднеся ложку ко рту. Она успела бросить туда щепоть кумина, чуть больше обычного. Так делали, когда молились за возвращение.

— Ешь, — сказала мать. — Не спеши. У дворца стены толстые. Подождут.

Хусейн ел. Мать села напротив, молча наблюдая за сыном. Не спрашивала ни о чём. Только раз положила руку ему на плечо, коротко, и убрала. Абдаллах ел рядом, медленно, глядя поверх сына.

Когда сын поел, мать подала ему чистый халат, тёмно-серый, тот, что берегли для мечети по пятницам.

— Не в старом же во дворец. Хусейн, ты сегодня будешь стоять перед эмиром. Стой аккуратно.

Он переоделся. Мать поправила ему воротник, разгладила плечи. Отец с сыном вышли на крыльцо. Мать не пошла за ними. Она осталась в дверях и не смотрела в сторону улицы. Держалась одной рукой за косяк, будто без него не устояла бы.

Отец взял руку сына в свои и сжал её, накрыв ладонью серебряный перстень.

— Помни, чей ты сын. Что бы там ни случилось.

* * *

Дворец встретил его стражей у ворот. Стражники долго не хотели пускать «мальчишку с улицы» дальше двора, пока не подошёл распорядитель, усталый человек с серым лицом, и не махнул рукой.

— Пускай войдёт. Хуже уже не будет.

— Хаким сказал: только тех, кого он знает.

— Хаким сегодня сказал много чего. Ты, дуралей, что теперь, будешь у меня спрашивать при каждом входе? Иди на пост.

Стражник посторонился, но проводил Хусейна взглядом. Не злым, скорее скучающим взглядом человека, который сегодня уже устал бояться.

Хасс-ода эмира пахла розовой водой и болезнью. Тяжёлый, приторный дух, который не могли перебить ни благовония, ни открытые ставни. Три врача стояли у ложа, все трое в чёрных халатах, все трое с одинаковым выражением лиц. Смесь усталости и облегчения оттого, что теперь есть на кого свалить неудачу.

— Ещё один, — произнёс старший, не глядя на вошедшего. — Сколько тебе лет?

— Семнадцать.

— Иди домой, дитя. Здесь не место для игр в лекаря.

Хусейн не ответил. Подошёл к ложу. Эмир Нух ибн Мансур лежал на боку, подтянув колени к груди. Поза человека, которого скручивает изнутри. Кожа на висках блестела от пота. На предплечьях и груди темнели пятна.

— Яд, — сказал второй врач, глядя на Хусейна с превосходством. — Это очевидно любому, кто учился медицине хотя бы месяц.

— А кто-нибудь спросил, что он ел до того, как заболел?

Тишина. Врачи переглянулись.

— При чём тут еда, — начал третий, но Хусейн уже сидел на краю ложа, взяв запястье эмира двумя пальцами.

Толчки бились неровно, слишком быстро для покоя. Не тем рваным, паническим ритмом, что бывает у отравленного. Хусейн считал удары, шевеля губами, глядя не на врачей, а на грудь эмира, поднимающуюся и опускающуюся.

Сто двадцать. Быстро, но ровно. У отравленного ритм скакал бы, обрывался бы через удар. Здесь ничего похожего.

— Сколько дней жар?

— Шестой, — ответил распорядитель от двери.

— Поднимается вечером, спадает к утру?

— Да. Откуда ты знаешь?

Хусейн не ответил сразу. Отпустил запястье, коснулся лба эмира тыльной стороной ладони. Горячий, но не сухой, влажный от испарины. Осмотрел пятна ближе. Не сплошные, не расползающиеся, скорее рассеянные, будто что-то собиралось под кожей мелкими лужицами и там застывало.

Он приподнял край халата на правом боку эмира, осторожно, глядя на рёбра.

— Что ты делаешь? — резко спросил старший врач.

— Смотрю, где темнее. Если под правым подреберьем темнее, чем на плечах, это точно не яд.

Он опустил ткань. Под рёбрами пятна были крупнее.

— Если бы это была отрава, — сказал он наконец, — жар держался бы ровно, не спадая, пока яд в теле. А у него жар отступает и возвращается. Так ведёт себя не отрава. Так ведёт себя лихорадка, которая рождается внутри тела, а не приходит снаружи.

— Мальчишка возомнил себя учителем, — процедил старший врач.

— Я не учитель. Я просто спросил то, чего не спросили вы.

Старший врач шагнул ближе, и в этом движении было больше угрозы, чем в словах.

— Ты знаешь, что будет, если он не поднимется после твоего лечения? Мы хотя бы можем сказать двору: делали всё, что предписывает наука. А что скажешь ты?

— Что попробовал то, чего не пробовали вы шесть дней.

Хусейн не отступил.

— Вы стоите здесь с шестого дня и повторяете одно слово. Яд. Как будто, повторив его достаточно раз, снимете с себя вину, если его не станет.

— Дерзкий щенок.

— Может быть. Но дерзкий щенок хотя бы посчитал ему удары сердца.

Второй врач, помоложе, вдруг подал голос, тише, без прежнего превосходства.

— Допустим, ты прав насчёт лихорадки. Что дальше? Отвар не снимет жар за одну ночь.

— Не снимет.

Хусейн впервые за разговор посмотрел на него без раздражения.

— Но снимет напряжение в животе, снизит испарину, даст телу время побороть жар самому. Тело эмира не слабое. Оно просто воюет без подмоги шесть дней подряд, пока вы искали, кого обвинить.

Распорядитель у двери издал звук, похожий на сдавленный смех, тут же подавленный кашлем.

* * *

В Газне в тот месяц праздновали победу.

Махмуд, ещё не султан, но уже хозяин половины Забулистана, сидел на возвышении и смотрел, как в яму перед троном сыплют трофейное серебро. Переплавить, перечеканить, пустить в оборот с новым именем на монете. Он никогда не улыбался первым. Улыбка означала слабость, а слабости в его дворе не прощали никому, включая хозяина.

Гонец, только что вернувшийся из Бухары, стоял, согнувшись почти до пола. Пыль дороги ещё лежала на его сапогах и на нижней кромке халата.

— Государство Саманидов слабеет, повелитель. Эмир Нух едва выжил. Говорят, спас его не лекарь двора.

— А кто?

— Мальчишка. С улицы. Из квартала переписчиков.

— Имя.

— Хусейн. Сын Абдаллаха, мелкого чиновника. Собирателя налогов при наместнике.

Махмуд не сразу поднял взгляд от чеканщика, который взвешивал новый диск серебра.

— Мальчишка, значит.

— Так говорят, повелитель. Люди в городе повторяют. Даже женщины на базаре.

— Сколько ему лет?

— Семнадцать, повелитель.

Махмуд молча смотрел на монету. Чеканщик подал ему новую, ещё тёплую. Махмуд принял её и провёл большим пальцем по свежему оттиску собственного профиля. Оттиск был чуть смазан на щеке. Он молча вернул монету чеканщику. Тот побледнел и убрал брак в отдельный ящичек, тот, где уже лежало десятка полтора таких же неудач.

— Запомни это имя, — сказал Махмуд, не поворачиваясь. — Мир, слабый настолько, чтобы его спасали мальчишки, долго не проживёт. А то, что спасает слабый мир, рано или поздно пригождается тем, кто хочет его забрать.

— Слушаюсь, повелитель.

— Пошли ещё людей в Бухару. Пусть смотрят, что станет с этим мальчишкой дальше. Государства слабеют не сразу. Сначала слабеют их правители. Потом их лекари. А после всё, что между ними стоит.

Гонец поклонился и вышел. Махмуд ещё долго сидел, вертя монету между пальцами, слушая звон чеканки в яме перед троном. Один из молодых слуг у стены не выдержал, тихо кашлянул. Махмуд повернул голову на звук. Слуга съёжился, прижался лопатками к стене. Махмуд смотрел на него ровно, без выражения, потом отвернулся.

Слуга больше не кашлял до конца дня.

* * *

К вечеру шестого дня Хусейн уже не спрашивал разрешения у врачей. Просто делал то, что считал нужным, а они слишком устали, чтобы спорить.

Он составил отвар. Горькая полынь против жара, немного чабреца против спазмов в животе, камфорой смочить виски и грудь, снять испарину. Ничего из того, что не знали бы старшие врачи. Разница была не в травах.

— Три раза в день, — сказал он служанке, протягивая глиняную чашу. — Тёплым, не горячим. И следите за пятнами. Если начнут темнеть сильнее, зовите меня немедленно.

— Тебя? — переспросила служанка, оглядываясь на врачей.

— Меня, — сказал Хусейн. Врачи не возразили.

Старший из них ушёл первым, не сказав ни слова. За ним второй, за ним третий. У двери третий обернулся.

— Мы вернёмся утром. Посмотрим, что от него останется.

Он ушёл, не дожидаясь ответа.

Ночь прошла тяжело. Хусейн не уходил из хасс-оды. Сидел у стены, сжимая и разжимая ладонь всякий раз, когда эмир вздыхал глубже обычного. Дважды эмир вскрикивал во сне, и оба раза Хусейн вскакивал первым, раньше врачей, раньше слуг, чтобы проверить лоб, дыхание, толчки под кожей на запястье.

За третьим часом ночи чираг у изголовья начал коптить. Слуга, спавший у двери сидя, не проснулся. Хусейн встал, подрезал фитиль, добавил масла из глиняной склянки. Пламя выровнялось, дало ровный жёлтый свет. Он вернулся к стене и снова сел.

Он смотрел на потолок хасс-оды. Расписной, с растительным узором по кайме, с золочёными звёздами по центру. Он никогда не видел таких потолков. В его комнате был просто беленный глиной свод, местами закопчённый от чирага.

Ближе к утру эмир снова застонал. Хусейн подошёл, приложил ладонь ко лбу. Кожа была влажной, но уже не такой раскалённой, как вечером. Он повернул эмира на спину, чтобы облегчить дыхание. Подложил под голову свёрнутое полотенце.

К рассвету жар начал спадать. Не резко, не чудом, а медленно, как отступающая вода.

Служанка принесла новый отвар и лепёшку.

— Поел бы, хаким.

Она сказала это без иронии, впервые за всю ночь.

Хусейн ел стоя, глядя на эмира. Лепёшка была вчерашняя, суховатая, но зубы у него были крепкие. Он не заметил, как съел всю.

Он сел обратно к стене. Проверил ещё раз лоб эмира и наконец, впервые за ночь, разрешил себе прикрыть глаза. Не заснул. Просто закрыл, чтобы дать глазам отдохнуть от пламени чирага.

На третье утро эмир открыл глаза осмысленно, узнал собственного распорядителя и спросил слабым голосом, кто был тот мальчик, что сидел у его постели.

Эмира усадили среди подушек, худого, бледного, но живого, и Хусейна привели в хасс-оду как гостя.

— Мне сказали, что ты спорил с моими врачами, — произнёс Нух ибн Мансур. Голос был тих, но в нём слышалось прежнее достоинство правителя.

— Я не спорил, повелитель. Я задавал вопросы, на которые у них не нашлось ответов.

Эмир усмехнулся, слабо, одними уголками губ.

— Дерзкий ответ для мальчика в моих покоях.

— Простите. Я не умею иначе.

— И не учись.

Эмир указал на сундук у стены, окованный медью.

— Открой.

Внутри лежало золото. Столько, сколько Хусейн не видел за всю жизнь. Динары, слитки, украшения с камнями, отобранные, судя по виду, из личной казны.

— Бери, сколько унесёшь. Ты вернул мне жизнь.

Хусейн смотрел на сундук долго.

— Золото лежит в сундуке, повелитель. Его можно украсть, потратить, потерять в дороге.

Он поднял взгляд.

— А то, что вы могли бы дать мне вместо золота, украсть нельзя.

— Что же ты хочешь?

— Ключ от «Сиван аль-Хикма».

В покоях стало тихо. Даже врачи, стоявшие у двери, перестали перешёптываться.

— От дворцовой библиотеки? — переспросил эмир, будто ослышался.

— Да, повелитель.

Нух ибн Мансур смотрел на него долго. Дольше, чем позволял этикет, дольше, чем требовала простая благодарность. Потом кивнул распорядителю.

— Дайте ему ключ.

И, повернувшись к Хусейну, добавил тише:

— Ты первый за многие годы, кто просит у меня не то, что можно потратить.

* * *

Ключ оказался тяжелее, чем выглядел. Холодное железо легло в ладонь рядом с отцовским перстнем. Хусейн сжал кулак.

Кованая дверь библиотеки поддалась не сразу. Заскрипела, отвыкнув от чужих рук. Толкнула в лицо запахом старого пергамента и дыма ладана, которым здесь окуривали свитки от насекомых.

Хусейн шагнул внутрь и замер.

Полки уходили в темноту дальше, чем доставал свет масляной лампы, которую нёс за ним слуга. Свитки лежали ярусами, перевязанные лентами разных цветов, по языкам. Греческий, персидский, санскрит. На корешках некоторых книг блестела золотая вязь, потускневшая от времени, но всё ещё различимая. Голубоватый отлив самаркандской бумаги проступал там, где свет падал под нужным углом. Хусейн провёл пальцами по ближайшей полке, стирая пыль десятилетий, и подумал, что за этой дверью спрятаны ответы на вопросы, которые он ещё даже не научился задавать.

Слуга поднял лампу выше. Тени качнулись по рядам полок. Хусейн шёл вдоль стеллажей медленно, не притрагиваясь ни к чему без спроса, только читая надписи на кожаных корешках. Врачебные трактаты рядом с трудами по звёздам, персидские сборники стихов рядом с греческой геометрией, которую здесь, кажется, никто не открывал десятилетиями. В дальнем углу, у окна с решёткой, стоял низкий стол переписчика, пустой, без единого листа. Хусейн остановился рядом, провёл ладонью по гладкому дереву столешницы, отполированному локтями многих рук до него.

На соседней полке его взгляд зацепился за один свиток. Тёмная кожаная обложка с полустёртой золотой вязью. Хусейн наклонился ближе, разобрал арабские буквы. Гален. Пятый том. Тот самый, о котором аль-Фараби писал: «многие ищут, немногие держали в руках». Хусейн осторожно протянул палец, но не снял свиток с полки. Постоял, вслушиваясь в собственное дыхание.

Он снял свиток. Раскрыл первую страницу. Почерк был мелкий, убористый, с наклоном вправо. Тот же почерк, что в дедовских учебниках, только тоньше, старее. Хусейн бережно закрыл свиток и вернул на полку. Он вернётся сюда завтра. И послезавтра. И потом.

— Здесь работали лучшие умы Мавераннахра, — сказал распорядитель, стоявший у входа. — Половина из них уже в земле. Библиотека их пережила.

— А что случится с теми, кто придёт после них?

Распорядитель не ответил сразу. Пожевал губами.

— Не моё дело, хаким. Моё дело — ключи и замки. А кто там что переживёт — это тем, кто сверху, виднее.

Он усмехнулся и добавил тише:

— Ты, малой, только вот что. По ночам сюда не ходи один. Тут по коридорам сквозняки такие, что лампу задувает, а ты в темноте между полок останешься. Я двадцать лет тут служу, а всё равно не люблю ночью заходить.

— Спасибо, отец. Я запомню.

— И ещё. — Распорядитель посмотрел в сторону двери, понизил голос. — Ключ, что тебе дали. Он один. Второго нет. Раньше было два. Второй потерялся ещё при отце нынешнего эмира. Так что смотри не потеряй. А то будешь у меня отпирать через окно.

Хусейн опустил ключ в поясной кошель и прижал ладонью. Металл через ткань кошеля был холоднее серебряного перстня.

За спиной скрипнула дверь.

Хусейн обернулся. Трое врачей стояли в проёме, не входя, только глядя. Тот, что называл его мальчишкой, смотрел теперь без насмешки. Смотрел так, как смотрят на то, что решили однажды уничтожить.

Дверь закрылась. Свет лампы качнулся на стенах.

Хусейн остался один среди тысяч чужих знаний.

Глава 5. Лабиринт мудрости

Первую ночь в библиотеке Хусейн проспал сидя, привалившись спиной к холодной полке, потому что боялся проспать рассвет и упустить хоть один час среди этих свитков.

Проснулся он от того, что затекла шея. Масляная лампа догорела до последней трети фитиля, и в её неровном свете полки казались выше, чем накануне вечером. Хусейн потёр лицо ладонями, встал, разминая спину, и подошёл к ближайшему стеллажу.

Свитки лежали ярусами. Одни перевязаны алой лентой, другие синей, третьи вовсе без ленты. Брошены как попало, будто последний хранитель уходил второпях. Хусейн провёл пальцем по корешку верхнего трактата, стирая пыль. Пахнуло старой кожей и слабым горьким дымом ладана, которым здесь окуривали свитки от насекомых. Запах слежался в стенах давно, был почти уже не запах, а память о нём.

— Рано встал, — раздался голос за спиной.

Хусейн обернулся. В дверях стоял старик в выцветшем халате переписчика, с седой бородой, коротко остриженной по подбородку, и с чернильными пятнами на пальцах, такими старыми, что въелись в кожу навсегда. Он держал в руке глиняную плошку с маслом, шёл заправлять лампы. Смотрел на Хусейна не враждебно, но и не тепло. Так смотрят на новую вещь в доме.

— Меня приставили следить за порядком, пока эмир не назначит нового хранителя, — сказал старик. — Зовут Джафар. Библиотека три года стояла без варрака. Последнего не стало, и никто не спешил заменить его.

— Почему?

— Спроси у тех, кто решает такие вещи. — Джафар пожал плечами и поставил плошку на низкий стол переписчика, тот самый, пустой, у которого Хусейн стоял накануне вечером. — Я лишь слежу, чтобы крысы не грызли переплёты и чтобы сырость не проела бумагу. Дальше этого моя должность не идёт.

Он оглядел юношу с ног до головы, задержавшись взглядом на измятой одежде, в которой тот, видно, и спал.

— Тебе бы принести сюда хоть тюфяк, — добавил Джафар. — Каменный пол не располагает к долгой службе спине. Особенно в твои годы, пока кости ещё растут.

— Привыкну, — ответил Хусейн. — Отец с матерью в квартале переписчиков, а мне теперь ближе к книгам, чем к дому.

Джафар хмыкнул и ушёл заправлять лампы в дальнем конце зала.

* * *

Дни потекли одинаково и совсем не похоже друг на друга.

Утром Хусейн просыпался с первым азаном. Съедал лепёшку, которую ему теперь приносили из дворцовой кухни, и садился за работу. Он разбирал полки по разделам, которые придумывал на ходу. Сначала врачебные трактаты, потом труды по звёздам, потом фальсафа, греческая мудрость в персидском и арабском платье. Индийские манускрипты лежали отдельно, непонятные, с вязью, которую он ещё не умел читать. Но и их он раскладывал по темам, которые угадывал по рисункам на полях.

К полудню пальцы у него становились чёрными от чернил и купоросной кислинки, на которой Джафар разводил новые взамен высохших. Хусейн переводил греческие термины на арабский, сверяя два экземпляра одного трактата, если находил расхождение. Записывал собственные наблюдения на полях, сначала робко, потом всё увереннее. Пока однажды не заметил, что заполнил веленевый лист заметками почти целиком, без единого чужого слова.

— Это уже не перевод, — сказал Джафар, заглянув через плечо. — Это твои собственные мысли.

— Наверное. — Хусейн не поднял головы. — Я просто отвечал книге. Она задавала вопрос, я отвечал.

— Так рождаются трактаты, мальчик. Не думай, что это малость.

Хусейн промолчал и вернулся к листу. Такого не было с того дня, когда он впервые понял «Метафизику» через комментарий аль-Фараби. Отвар для эмира вылечил тело за одну ночь. Написанное могло пережить и ночь, и того, кто пишет.

Однажды он попросил у Джафара показать, как устроены каталоги. Старик провёл его в дальний угол зала, где на низком столе лежала связка тонких дощечек, обтянутых кожей. Опись, которую вели ещё при прежнем варраке.

— Здесь записан каждый свиток, что вносили в стены этого дома, — сказал Джафар, проводя пальцем по строчкам. — Название, откуда привезён, кто переводил. Только запись давно отстаёт от того, что на самом деле стоит на полках.

— Почему?

— Три года без хозяина. — Джафар подвинул дощечку ближе к свету. — Кто станет писать в опись, если некому проверить написанное?

Хусейн взял дощечку в руки, взвесил на ладони её неожиданную тяжесть и решил в тот же вечер, что перепишет опись заново, сверяя каждую строку с полкой. Работа заняла не один день. Он ходил вдоль стеллажей с лампой в одной руке и каламом в другой, называл вслух названия трактатов, будто разговаривал с самой библиотекой.

Постепенно вырисовывалась картина. Врачебные разделы и звёздные таблицы были в относительном порядке. Но там, где начинались труды по логике и метафизике, опись то и дело расходилась с тем, что стояло на полках. Одни книги значились в описи, но отсутствовали. Другие стояли без единой записи о себе, будто попали сюда тайком.

— Странно, — сказал он Джафару, показывая расхождение. — Врачебные трактаты все на месте. Звёздные таблицы все на месте. Пропуски только здесь.

Джафар посмотрел на строку, куда указывал палец Хусейна. Лицо его не изменилось, только пальцы на краю дощечки побелели.

— Может, прежний хранитель просто не успел записать.

— Три года прошло с его ухода. Не успеть за три года можно многое, но не всё подряд из одного раздела.

Старик не ответил. Забрал дощечку и унёс к столу. Хусейн смотрел ему вслед.

* * *

Отец пришёл под вечер, в первый раз за всё это время.

Абдаллах стоял у входа в библиотеку неловко, будто чужой в собственном городе, и оглядывал полки с почтением человека, который сам читал с трудом.

— Твоя мать спрашивает, ешь ли ты, — сказал он вместо приветствия.

— Ем. Дворец кормит лучше, чем мы дома.

— Не шути так. — Отец нахмурился, но тут же смягчился, увидев, как сын держит калам. Уверенно, без прежней робости. — Ты изменился.

— Изменился ли я, или просто нашёл место, где можно быть собой без оглядки?

Абдаллах долго молчал, разглядывая ряды свитков.

— Кадий спрашивал о тебе, — сказал он наконец, понизив голос, хотя в библиотеке кроме них двоих и Джафара, возившегося у дальней стены, никого не было. — Не прямо. Через знакомого купца. Интересовался, чем ты занят целыми днями.

— Скажи ему, что читаю книги. Больше нечем заняться в библиотеке.

— Ему не нужен твой ответ, сынок. Ему нужен повод. — Отец подошёл ближе и положил руку на плечо, тяжело. — Ты теперь на виду у всего двора. Раньше тебя видели немногие. Теперь видят все.

Хусейн повернул на пальце отцовский перстень, на четверть оборота, не снимая.

— Отец, если я буду прятать разум так же, как прячу дерзость, я перестану быть тем, кого вы с матерью растили.

— Я не прошу прятать разум. Я прошу быть осторожным.

— Разве это не одно и то же для человека, который думает вслух?

Абдаллах не нашёл, что ответить сразу. Помолчал, глядя на дверь.

— Ещё одно, — сказал он тише. — Те трое, придворные лекари. До сих пор ходят по домам знакомых и рассказывают всем, кто слушает, что мальчишка с улицы опозорил науку, которой они служили тридцать лет. Один назвал тебя при свидетелях самозванцем.

— Пусть говорят. Эмир жив. Это единственный довод, который мне нужен.

— Довод для тебя. Не для тех, кто ищет повод, чтобы тебя не стало рядом с двором. — Абдаллах сжал плечо сына крепче. — Гордость лекаря такая же острая вещь, как гордость кадия. Ты нажил врагов сразу с двух сторон, сынок, и оба лагеря умеют ждать.

Хусейн ничего не ответил. Отец ушёл вскоре после разговора.

К закату Хусейн вышел во двор размять спину и вдохнуть воздуха, в котором нет пыли пергамента. У колонны, ведущей к покоям придворных, стоял один из тех троих. Тот, что в день выздоровления эмира называл его мальчишкой.

Хусейн замедлил шаг, но не остановился.

— Далеко идёшь, лекарь? — спросил врач негромко. — Не заблудись. В библиотеке ночью темно, лампы чадят. Всякое может случиться со свитками, если хозяин уснёт над ними.

— Хозяин у свитков один, — ответил Хусейн, не повернув головы. — И он не я, и не ты.

— Верно. Но тот, кого найдут рядом с пропажей, с тем и станет говорить кадий. — Врач улыбнулся, тонко, одной стороной рта. — Спи крепче, сын Абдаллаха. Молодым нужен сон.

Он поклонился и ушёл вглубь двора, к покоям, где Хусейну хода не было. Юноша долго смотрел ему вслед.

* * *

В Горгане, у южного берега моря, о котором в Мавераннахре знали только по рассказам купцов, в тот вечер топили очаг.

Женщина укачивала маленького сына. Мальчику было около двух лет, слишком мало, чтобы запомнить хоть слово из того, что говорили взрослые. Купец, только вернувшийся с караваном из Бухары, рассказывал соседям историю, и она шла из уст в уста быстрее, чем шёл сам караван.

— Мальчишка, — говорил купец, грея руки над огнём, — совсем юный, лет семнадцати, вылечил самого эмира, когда придворные лекари только разводили руками. И взял в награду не золото, а ключ от библиотеки. Говорят, теперь читает днями и ночами. Хочет проглотить все книги мира разом.

— Как его звать? — спросила хозяйка дома, подкладывая хворост.

— Хусейн, сын Абдаллаха. Скоро о нём заговорит весь Хорасан, помяните моё слово.

Ребёнок у очага завозился во сне. Много позже, когда он вырастет и станет называться Абу Убайдом аль-Джузджани, мать не раз расскажет ему эту зимнюю историю о юноше и библиотеке. Просто как одну из сказок у огня, которых в детстве бывает много, а помнится едва ли одна.

* * *

К концу второй недели у Хусейна набралось три свитка собственных заметок, исписанных убористым почерком с обеих сторон.

Однажды вечером, разбирая связку без ленты, ту самую, брошенную как попало у дальней стены, он наткнулся на манускрипт, не похожий на остальные. Без имени автора на титульном листе. Почерк на полях принадлежал не переписчику. Кто-то спорил с текстом, зачёркивал целые абзацы, вписывал поверх строки, узкие, злые.

Хусейн развернул свиток осторожно, стараясь не порвать ветхую бумагу на сгибах.

— Что там? — спросил Джафар, поднимая голову от масляной лампы, которую как раз заправлял в другом конце зала.

— Не знаю. — Хусейн вглядывался в строки, узнавая отдельные термины фальсафы, но не находя ни имени, ни привычной структуры трактата. — Кто-то читал это до меня. И спорил всерьёз.

— Здесь многие спорили. — Джафар подошёл ближе, вытирая пальцы о полу халата. — Некоторые книги опаснее золота, мальчик. Золото крадут ради выгоды. Эти книги крадут ради того, чтобы их не было вовсе.

— О чём ты?

Старик не ответил сразу. Забрал у Хусейна свиток, свернул его обратно и положил на самую верхнюю полку, куда трудно было дотянуться без скамьи.

— Здесь не всё возвращается на своё место, — сказал он тихо. — Свитки исчезают. Не так, чтобы бросалось в глаза. Один в год, может быть, два. Но исчезают. И это не крысы, о которых мне положено заботиться.

Хусейн отложил калам.

— Кто?

— Если бы я знал, я бы уже сказал распорядителю. — Джафар посмотрел в сторону входа. — Знаю только, что пропадают книги определённого рода. Не медицинские трактаты. Не звёздные таблицы. Фальсафа. Греческая мудрость, за которую факихи готовы объявить куфром саму библиотеку, а заодно и тех, кто в ней сидит.

Хусейн стоял и смотрел на верхнюю полку, где теперь лежал чужой манускрипт без имени.

* * *

Ночь легла на Бухару рано, как это бывает поздней осенью. Хусейн остался в библиотеке один. Джафар ушёл домой к семье, а слуга, приносивший масло для ламп, не появлялся после заката.

Он не мог уснуть.

Мысль о пропавших книгах ворочалась в голове настойчивее, чем усталость в плечах. Он то принимался за перевод, то откладывал калам и снова шёл к дальней стене, туда, где Джафар спрятал свиток без имени автора. Полка была высокой. Хусейн подставил низкую скамью переписчика, встал на неё и вытянул руку, коснувшись пальцами шершавого края бумаги.

Свиток лежал на месте. Он выдохнул, сам не заметив, что задерживал дыхание.

Спустился, поставил лампу на стол и попробовал вернуться к работе. Строки расплывались перед глазами. Тишина библиотеки казалась вдруг слишком плотной, слишком внимательной. Он потёр лицо ладонями. Третью ночь подряд он не спал толком, и мозг отказывался останавливаться, даже когда тело умоляло о покое.

Он всё же задремал, положив голову на скрещённые руки поверх раскрытого свитка, и проснулся от звука.

Не громкого. Едва различимого. Тихий шорох ткани о камень где-то в глубине зала, там, где полки уходили в темноту дальше света последней чадящей лампы.

Хусейн замер, вслушиваясь.

Шорох повторился и стих.

Он поднял лампу и медленно пошёл вдоль стеллажей, туда, откуда донёсся звук. Ступал так, чтобы сандалии не шаркали по каменному полу. Пахло гарью чадящего фитиля и старой кожей корешков, слишком близко к лицу. Тени качались по рядам полок при каждом шаге, растягивались и снова сжимались. На миг показалось, что сами свитки шевелятся в темноте.

У дальней стены было пусто. Ни фигуры, ни тени, кроме той, что отбрасывала его собственная лампа.

Он остановился и вслушался так, что заболели уши. Где-то у самого входа скрипнула дверная петля. А может, показалось. Ветер снаружи гулял между стенами дворца и умел подражать любому звуку.

Хусейн шагнул ещё раз, огибая последний стеллаж, и поднял лампу выше, к верхней полке, туда, куда Джафар спрятал манускрипт без имени.

Полка была пуста.

Он моргнул и придвинул лампу ближе. Не помогло. Пустое место зияло там, где вечером лежал свиток без ленты, а рядом пустовали ещё два, где стояли связки, перевязанные лентой фальсафы.

Кто-то приходил сюда, пока он спал, вжавшись лицом в собственные руки над раскрытым свитком. Кто-то знал, где искать. И знал, какие книги взять.

Сердце било так, что он сбился бы, если бы взялся считать.

За спиной, у самой двери, снова прошёл тот же едва различимый звук.

Хусейн стоял с лампой в вытянутой руке.

Глава 6. Ночь, когда горели книги

Опись лежала перед ним раскрытой, а строка напротив трёх свитков фальсафы была пуста, как выбитый зуб.

Хусейн вписал в неё дату и одно слово: «отсутствуют». Больше писать было нечего. Он поднял взгляд на дворцового распорядителя, приземистого человека с одутловатым лицом, который явился в библиотеку с рассветом, будто ждал за дверью всю ночь.

— Три свитка, — сказал Хусейн. — Манускрипт без имени и две связки, помеченные лентой фальсафы. Пропали ночью, пока я спал за этим столом.

— Спал. — Распорядитель произнёс это слово так, будто пробовал его на вкус и находил горьким. — Ты уверен, что они были на месте, когда запирал дверь накануне вечером?

— Я видел их своими глазами перед тем, как задремал.

— Задремал. Хранитель уснул над свитками, а наутро свитки исчезли. — Он обмакнул калам, но не спешил писать, разглядывая юношу так, как разглядывают подозрительный товар на базаре. — Так и запишем в бумагу для дворца?

Хусейн закрыл опись.

— Ты ищешь не вора. Ты ищешь виноватого.

— Я спрашиваю, что видел человек, который был здесь один. Кадий Абу Бакр как раз интересовался порядком в этих стенах. Спрашивал через знакомого купца, помнится, ещё на прошлой неделе. Такое совпадение стоит записать отдельно, для памяти дворца.

Он забрал у Хусейна дощечку с описью, поклонился ровно настолько, насколько требовал придворный обычай, и ушёл, не дожидаясь ответа. Шаги простучали по каменному полу и стихли за дверью, оставив после себя тишину, в которой было слышно, как потрескивает фитиль догорающей лампы.

Джафар, до того молча заправлявший другую лампу в дальнем углу зала, подошёл только теперь, вытирая пальцы о полу халата тем же движением, что и всегда.

— Не поднимай шума, мальчик, — сказал он тихо. — Тебя уже назначили виноватым. Ещё до того, как ты успел открыть рот и сказать хоть слово в свою защиту.

— Я не вор, Джафар. Я даже не знаю, кто вор.

— Знание тут ничего не решает. — Старик посмотрел на пустое место в описи, куда Хусейн только что вписал слово «отсутствуют», и покачал головой. — Решает тот, кто первым назовёт виноватого во всеуслышание. А это никогда не тот, кто прав.

* * *

Дни после пропажи текли иначе, чем прежние две недели.

Хусейн по-прежнему приходил к столу с первым азаном, разбирал полки, сверял переводы двух экземпляров одного трактата, если находил расхождение в терминах. Работа осталась прежней. Изменилось всё, что было вокруг работы.

Теперь он ловил на себе взгляды слуг, которые прежде проходили мимо, не поднимая головы от подносов и корзин. Кто-то у входа в кухню отводил глаза, стоило Хусейну поравняться с дверью. Кто-то из молодых писцов замолкал на полуслове, стоило юноше войти в зал каталогов.

К полудню переменилась поступь дворцовых слуг. Эмир Нух слёг тяжелее прежнего. Те самые трое лекарей, что когда-то развели руками перед желудочной лихорадкой, теперь толпились у покоев правителя с озабоченными лицами, из-под которых проступало нечто похожее на облегчение.

— Двор шепчется, что эмир не поднимется в этот раз, — сказал Джафар, раскладывая на низком столе свежие чернильные орешки для растирания новых чернил. — А без эмира у

тебя, мальчик, нет щита над головой. Ты это понимаешь так же ясно, как понимаешь греческие буквы?

— Ключ дал мне эмир своей рукой. Ключ у меня останется, пока я жив и пока меня не выгнали силой.

— Ключ, может быть, и останется. — Джафар растирал орешки медленными, привычными движениями, не поднимая головы. — А вот кто станет говорить за тебя перед кадием, если хозяина дворца не станет вовсе? Подумай об этом сейчас, пока думается спокойно, а не тогда, когда думать будет уже поздно.

Хусейн развернул очередной свиток и погрузился в перевод, потому что руки, занятые делом, не давали мыслям разрастись. Строка ложилась за строкой увереннее, чем билось сердце.

К вечеру, когда за окном начало смеркаться, в библиотеку пришёл отец.

Абдаллах остановился у входа, не решаясь ступить дальше порога.

— Уходи отсюда, — сказал он вместо приветствия, и голос дрогнул сильнее обычного. — Возвращайся домой, пока не поздно, сынок. Я прошу тебя в последний раз по-хорошему.

— Уйти сейчас — значит признать вину, которой нет и не было.

— Уйти — значит остаться живым и невредимым. А остаться — значит ждать, пока за тобой придут с бумагой, подписанной кадием. — Абдаллах шагнул ближе, понизил голос до шёпота, хотя в зале, кроме них, не было ни души. — Купец, через которого кадий расспрашивал о тебе, теперь говорит другое. Что свитки пропали не сами собой. Что мальчишка прячет книги, которые не хочет делить с миром.

Хусейн повернул перстень на пальце, на четверть оборота, не снимая.

— Отец, если я брошу книги сейчас, это будет выглядеть так, словно мне действительно есть что скрывать.

— А если останешься, будет выглядеть так, словно тебе нечего терять. — Абдаллах сжал плечо сына, тяжело, тем же движением, что и в прошлый раз. — Месяц назад я говорил тебе про гордость лекаря и гордость кадия. Ты не услышал. Послушай хоть раз самого себя, а не только собственное упрямство.

— Я слушаю. Но человек, который бежит от лжи, признаёт её правдой перед всем городом.

Абдаллах долго молчал. Глядел на сына так, будто искал в его лице черты десятилетнего мальчика, и не находил их больше. Он ушёл вскоре, не дождавшись ответа. В зале остался тот же привкус тревоги, что и после прошлого разговора.

* * *

К закату Хусейн вышел во двор, глотнуть воздуха без чернильной кислинки, что весь день липла к пальцам.

У колонны, ведущей к покоям придворных, снова стоял тот же врач. Без прежней тонкой улыбки.

— Сегодня спи крепче, лекарь, — произнёс он, не поворачивая головы. — Завтра будет много дыма.

— Дыма откуда, почтенный?

Врач не ответил. Качнул головой, как отвечают на вопрос, который сам себе задавал уже давно и устал от собственного ответа, и зашагал прочь, в сторону покоев, куда Хусейну хода не было.

* * *

К ночи библиотека опустела совсем.

Джафар ушёл засветло, сославшись на жену, которая давно жаловалась на грудной кашель. Слуга, приносивший масло для ламп, не появлялся с самого полудня, и Хусейн решил,

что распорядитель, обиженный утренним разговором, придержал его нарочно. Одна лампа на низком столе переписчика — весь свет на тысячи свитков.

Он не мог сосредоточиться на переводе. Разговор с распорядителем, разговор с отцом, три слова врача у колонны — всё это лежало поверх строки и не давало каламу идти ровно. Хусейн отложил калам и потёр лицо ладонями, чувствуя под пальцами колючую щетину, которую забыл сбрить ещё третьего дня.

В зале пахло как всегда. Старая кожа переплётов, слабый дух ладана, за десятилетия въевшийся в стены так глубоко, что стал почти памятью о самом себе. Потом под привычный дух пергамента вплелась другая нота, гуще и тревожнее. Так пахнет перегретое масло, оставленное слишком близко к открытому огню.

Хусейн поднял голову.

Дым он увидел раньше, чем понял, что это дым. Серая нить поднималась от дальней стены, там, где ещё грудами лежали связки без ленты, брошенные прежним хранителем годы назад. Через мгновение нить превратилась в полосу. А полоса — в свет, разгорающийся снизу вверх по сухому пергаменту так быстро, что глаз не поспевал за его краем.

Он вскочил, опрокинув скамью переписчика.

— Пожар! — закричал он в пустой зал. — Горим! Люди, сюда!

Огонь шёл по нижним полкам жадно и ровно, будто месяцами дожидался повода проснуться. Масло, которым Джафар из года в год пропитывал старые переплёты от сырости, вспыхивало короткими злыми языками там, где пламя касалось кожи корешков. Сухой воздух зала подхватывал огонь. Помощь со двора не поспевала за ним.

Хусейн бросился к своему столу. Три собственных свитка, исписанных его почерком за две недели работы, лежали там, где он их оставил накануне. Единственное, что принадлежало здесь ему одному. Он схватил их, прижал к груди свободной рукой и метнулся к ближайшему стеллажу с медицинскими трактатами, чтобы стащить хотя бы часть на середину зала.

Жар ударил в лицо раньше, чем он успел отступить.

Свиток, который он тянул к себе с верхней полки, вспыхнул у него в пальцах. Не весь, только край. Боль прошла по руке мгновенно и остро. Хусейн зашипел сквозь зубы, но не выпустил связку. Перехватил её другой рукой и потащил дальше, вдоль полок, туда, где огонь ещё не тронул сухую бумагу и где воздух был чище.

Снаружи забили в било. Частый тревожный звон пошёл по дворцовому двору. Кто-то закричал за дверью. Кто-то бежал по коридору. Кто-то тащил воду в кожаных вёдрах, которых было слишком мало против того, что уже разгорелось внутри. Хусейн метался между стеллажами, хватая связки, откладывая одни, роняя другие. Руки не слушались, обожжённые и дрожащие.

Дверь распахнулась настежь. Двое стражников ворвались в дым, один тут же закашлялся, второй схватил Хусейна за плечи с силой, не оставлявшей места для спора.

— Пусти! — Хусейн рванулся, пытаясь удержать в руках хотя бы то, что успел собрать. — Там ещё книги, там…

— Там огонь до самого потолка. — Стражник тащил его к двери, и противостоять этому юноша не мог при всём желании и всей ярости. — Тебя самого сгубит раньше, чем ты вынесешь хоть одну строку из этого пекла.

Его вытащили во двор. Холодный ночной воздух ударил в лёгкие с такой силой, что Хусейн согнулся пополам, зайдясь кашлем. Он взял себя за запястье и не сосчитал ничего. Жар, бегство и страх слились в один удар, и удары шли слитно, один в другой.

Он поднял голову, всё ещё держа три спасённых свитка обожжёнными руками. Библиотека светилась изнутри, как исполинский чираг, оставленный слишком близко к сухой бумаге.

* * *

К утру от «Сиван аль-Хикма» остались обугленные стены и запах гари, въевшийся в камень.

Хусейн стоял на коленях посреди двора, там, куда его отвели ночью и где он просидел до самого рассвета. Ноги отказывались нести его дальше хоть на шаг. Ладони жгло нестерпимо. Кожа вздулась пузырями там, где огонь коснулся пальцев, всегда чёрных от чернил, а теперь красных от ожога. Он не мог даже повернуть перстень привычным движением. Каждое прикосновение к металлу отзывалось резью до самого плеча.

Три спасённых свитка лежали рядом на земле, закопчённые по краям, но целые внутри. Остальное осталось за почерневшим порогом, среди рухнувших балок и остывающего пепла, который ветер уже начинал разносить по двору серыми хлопьями, похожими на первый снег не по сезону.

К полудню во двор пришли те, кого он меньше всего хотел видеть в этот час. Двое факихов в чёрных чалмах и с ними тот самый врач, что накануне обещал много дыма. За их спинами собралась толпа слуг и придворных. Дым минувшей ночи ещё не до конца развеялся между стенами.

— Мальчишка сам поджёг эти стены, — произнёс старший факих, не глядя на Хусейна. — Он не хотел делить греческую ересь ни с кем во дворце. Лучше сжечь тайну дотла, чем позволить другим прикоснуться к ней раньше срока.

— Свитки пропадали и раньше. — Врач сложил руки на груди с видом человека, которому больше не нужно притворяться сочувствующим. — Спросите варрака, он знает правду не хуже меня. Знал и молчал, потому что покрывал того, кто ночевал здесь безнаказанно две недели подряд.

Джафара во дворе не было.

Хусейн поднял голову.

— Я тушил огонь голыми руками. — Он повернул обожжённые ладони так, чтобы видели все, кто стоял поодаль. — Разве человек жжёт собственные руки, поджигая то, что хочет присвоить себе одному?

— Или жжёт их, заметая следы более страшного греха, — отрезал факих, и в толпе за его спиной пробежал согласный ропот, тихий, но единодушный.

Толпа молчала после этих слов, и в этом молчании не было ни капли сочувствия.

К вечеру знакомый писец из ведомства кадия принёс весть. Ордер выписан. Хусейну надлежало явиться на разбирательство к Абу Бакру аль-Варраку в срок, который назовут отдельно. До той поры ему запрещалось покидать город.

— Запрещалось покидать город, — повторил Абдаллах, когда сын передал ему эти слова у порога родного дома, куда Хусейн явился впервые за две недели, с обожжёнными руками, спрятанными в рукавах. Голос отца дрожал. — Это не запрет, сынок. Это отсрочка перед арестом.

Он помолчал.

— И ещё. Джафар увёз жену к её родне в Кермине. Уехал в ту самую ночь, ещё до била.

— Что мне делать, отец?

— Спрятаться, пока город не остынет так же, как остывает пепел. — Абдаллах сказал это ровно, как о деле, которое уже решил. — У меня есть старый друг, гончар. У него подвал под мастерской, глубокий и сухой. Никто не станет искать сына переписчика среди глиняных горшков и обожжённых кувшинов.

Бухару лихорадило слухом о ереси быстрее, чем горела сама библиотека несколько часов назад.

Той же ночью Хусейн спустился по щербатым каменным ступеням в сырую темноту чужого подвала.

Наверху, в мастерской, гончар ещё возился у печи. Хусейн сел и положил ладони на пол.

Глина была холодной, и жечь перестало.

Глава 7. Прощание с Бухарой

Глина под ладонями была холодная, сырая, пахнущая подвалом и горшечным жаром сверху. Хусейн лежал на войлочной подстилке, глядя в темноту над головой, и слушал, как наверху, в мастерской, гончар возится у печи.

Ладони уже не жгло. Первую неделю боль не отпускала ни на час. Он прикладывал холодную глину к волдырям, потом мазь, которую гончар доставал неизвестно откуда и молча совал в темноте, не глядя в глаза. Теперь на месте ожогов осталась тонкая блестящая кожа, стянутая и чужая. Он сжал кулак. Кожа на костяшках натянулась, отозвалась слабой болью глубоко под кожей.

Наверху скрипнула дверь. Кто-то спустился по лестнице, медленно, тяжелее обычного.

— Хусейн. — Голос гончара звучал глухо в темноте подвала. — Твой отец прислал мальчишку. Просит прийти. Говорит, немедля.

Он сел. Сердце толкнулось раз, другой, чаще обычного покоя, но ещё не срываясь в тревогу.

— Немедля значит немедля, — повторил гончар. — Больше он ничего не передавал.

Хусейн знал, что значит это слово в устах отца. За три года Абдаллах ни разу не звал его немедля. Он приходил сам, тихо, в сумерках, приносил хлеб и вести и уходил, не дожидаясь благодарности. Звать сына к себе значило рисковать им. А рисковать сыном отец не стал бы ради простого разговора.

* * *

Три года — долгий срок.

Первые месяцы он не выходил из подвала вовсе. Слухи о поджоге разошлись по Бухаре быстрее, чем расходился когда-то слух о пропавших свитках. Мальчишка-лекарь, которому дали слишком много, сжёг то, чем не хотел делиться. Ордер кадия Абу Бакра аль-Варрака висел над его именем, как невидимый клинок, готовый опуститься, стоит кому-нибудь узнать лицо под низко надвинутым капюшоном.

Гончар приносил еду раз в два дня, ставил у изголовья и уходил, не говоря лишнего слова. Чем меньше он знал сам, тем меньше мог выдать, случись стражникам спросить его напрямую.

Потом эмир Нух ибн Мансур угас, и на несколько недель дворец забыл про беглого поджигателя. У Саманидов появились заботы страшнее одного юноши с обожжёнными руками. Хусейн перебрался на чердак старого переписчика, друга гончара. Там было суше, но теснее, и приходилось молчать целыми днями, пока внизу работала мастерская. Дворцового врача, того самого, что стоял у колонны в ночь описи, с той ночи в Бухаре никто не видел.

Он продолжал писать. Это было первое, что вернулось к нему раньше страха. Калам, лист самаркандской бумаги, чернильница, спасённая из огня вместе со свитками. Строка ложилась за строкой в темноте чердака, при свете единственной лучины. Его судили за то, что он писал ночами в чужих стенах. А он писал ночами в чужих стенах, потому что иначе не мог.

К нему стали приводить больных. Сперва ребёнка с жаром, которого мать принесла на руках через два двора, минуя стражу, потом женщину с воспалившейся ладонью, потом старика с одышкой, чей кашель отдавал ржавым привкусом. Хусейн брал запястье, считал удары под кожей, прижимал ухо к груди, спрашивал о цвете мочи и запахе дыхания. Платили ему медными дирхемами и молчанием. Люди умели молчать, если это спасало их собственных детей.

Приходили в темноте условленным стуком. Два коротких удара, потом один долгий. Уходили до первого света, унося с собой не только снадобье, но и знание, за которое лекарю рубят голову.

Однажды старая повитуха, приведшая роженицу с горячкой, долго смотрела на его руки, прежде чем спросить напрямик, правда ли, что это он сжёг библиотеку. Хусейн не ответил. Ответа она, похоже, и не ждала.

— Руки, что вправляют кости, не поджигают книги, — сказала она. — Я тебе верю, а другим до этого дела нет.

Больше она ничего не спрашивала, только приходила снова, когда рожали чьи-то дочери.

Страх притупился до привычного гула, как шум далёкого базара за стеной, который слышишь постоянно и перестаёшь замечать. Но случайный взгляд прохожего, слишком долго задержавшийся на его лице, напоминал, что где-то в этом же городе по-прежнему лежит бумага с его именем.

Город менялся быстрее, чем заживали его ладони. Саманидский престол шатался с каждым месяцем. То один родич покойного эмира примерял корону, то другой, а знать поговаривала шёпотом о тюркской коннице, что стоит где-то на севере и ждёт своего часа. Ордер аль-Варрака давно перестал быть главной опасностью. Опасностью стал любой факих на базаре, готовый ткнуть пальцем в лицо под капюшоном и крикнуть: «поджигатель».

Хусейн не переставал вести записи о больных. Какие травы помогали, какие нет, как менялся пульс при разных лихорадках, как вела себя моча при разных недугах желудка. Три спасённых свитка обрастали новыми, неказистыми, сшитыми наспех страницами. Он писал на обрывках, которые удавалось достать, и почерк стал мельче, чтобы вместить как можно больше знания в как можно меньшее пространство, на случай если снова придётся бежать налегке.

Отец приходил всё реже. И всё медленнее поднимался по щербатым ступеням, ведущим к дому гончара. Хусейн замечал это по звуку шагов задолго до того, как видел лицо. В последний раз, месяц назад, Абдаллах присел на пороге подвала отдышаться, прежде чем спуститься.

* * *

Он шёл по ночным улицам Бухары, натянув капюшон до самых бровей, и впервые за три года никто не задерживал взглядом чужого прохожего. Город был занят собой. Ставни заколочены наглухо, у стен арбы с наспех навязанным скарбом, на перекрёстках тюркские дозоры в незнакомой броне. Они пропускали пеших, не глядя.

Дом отца встретил его запахом остывающей лампы и горькой гвоздики в питьевом отваре, тем самым, что помнился с детства.

Мать сидела у порога комнаты, не поднимая головы. Она ничего не сказала, только посторонилась, пропуская сына внутрь, и в этом молчании было больше, чем в любых словах.

Абдаллах лежал на низкой постели, укрытый до пояса, и дышал так, что каждый вдох давался с усилием. Глаза его приоткрылись, узнали сына прежде, чем он успел приблизиться.

— Пришёл, — прошептал отец. Голос звучал тоньше, чем помнился. — Значит, ещё не забыл дорогу к отчему дому.

— Отец. — Хусейн опустился на колени у постели. — Я здесь.

Он взял руку отца в свою. Не потому, что решил. Тело врача сделало это раньше разума сына. Пальцы легли на запястье привычным движением, тем самым, каким он когда-то нащупывал пульс эмира Нуха в час, обещавший ему целую библиотеку. Под кожей билось часто и слабо, срываясь. Он считал удары. Раз, другой, третий. На пятом сбился.

Сто десять. Может, сто двадцать. Нитевидный, срывающийся, пропускающий каждый третий или четвёртый удар. Он знал этот ритм по книгам, по чужим постелям, по бимаристанам, куда его звали в последний год свободной жизни. Тогда он читал такой пульс спокойно и говорил родственникам, чего ждать. Сейчас он не сказал ничего.

— Ты меряешь мой пульс, — сказал Абдаллах, и в голосе его прозвучало что-то похожее на смех. — Даже сейчас. Даже сюда принёс своё ремесло.

— Прости. Руки сами.

— Не проси прощения за то, что делает тебя тобой.

Хусейн молчал, не отпуская запястья отца.

— Гончару за три года не плачено, — сказал Абдаллах. — В сундуке под окном, в тряпице. Отдай сам, из рук в руки. У матери он не возьмёт.

— Отдам.

— И книги мои. — Отец помолчал, набирая воздуха. — Мать их продавать станет, обманут на первом же ряду. Возьми себе, какие унесёшь.

— Возьму.

— Ты вылечил эмира, — проговорил Абдаллах после долгой паузы. Каждое слово давалось отдельным усилием. — Правителя целой страны. А своего отца вылечить не можешь. Такова цена твоего дара, сынок. Он спасает чужих. Своих — не всегда.

— Я мог бы попробовать отвар из…

— Не надо отваров. — Абдаллах качнул головой едва заметно, и это движение стоило ему больше, чем целая фраза. — Я не за этим позвал тебя немедля.

Он замолчал, собираясь с силами.

— Есть вещи, которых ты обо мне не знаешь, — сказал он наконец. — Люди, которых я не подпускал к тебе близко. Причины, по которым я так боялся твоего ума с самого начала, ещё до кадия, ещё до библиотеки. Я думал, будет время рассказать. Оказалось — не будет.

— Отец, о чём ты?

Абдаллах не ответил. Веки его опустились, потом снова приоткрылись.

— Помни, чей ты сын, — прошептал он вместо ответа. — И помни, что я…

Фраза оборвалась на середине. Не потому, что отец решил замолчать. Потому, что сил на её конец больше не было.

* * *

К предрассветному часу дыхание в комнате стало другим. Реже, глубже, с долгими промежутками, в которых Хусейн, не отпуская запястья, считал уже не удары пульса, а сами вдохи.

Он держал руку отца, когда всё закончилось.

Момент был неуловим. Только что билось, и вот уже нет. Только что дышало, и вот уже тишина, ровная и окончательная, какой не бывает во сне. Хусейн опустил голову к неподвижной груди. Привычка врача не оставила его даже здесь, но он не услышал ничего, кроме собственного сердца, бьющегося за двоих.

Мать вошла тихо, будто знала прежде, чем ей сказали. Не закричала. Опустилась рядом и накрыла ладонью руку мужа так же, как минуту назад её держал сын.

Хусейна отвели с погребальным шествием к городской стене, туда, где хоронили честных людей Бухары испокон веку. Обряд был скромный и тихий. Несколько соседей, друг-гончар, старый переписчик с чердака, слова имама, произнесённые вполголоса. Сын покойного всё ещё числился в розыске, и никто не хотел стоять у этой могилы дольше нужного. Землю засыпали быстро.

Мать не поднимала глаз от свежего холма. Хусейн смотрел на ту же землю и вспоминал не последние слова отца, а тысячу мелких. Как тот учил его читать. Как гордился каждым выученным стихом. Как впервые привёл его, десятилетнего, к учителю Натили и сказал: «Слушай его так, будто это последний учитель в твоей жизни». Он стоял так, пока мать не тронула его за плечо.

От этой потери мир не стал больше. Он стал пустым, как пустеет комната, из которой вынесли единственную мебель, и эхо шагов звучит в ней иначе, чем прежде.

Дальние трубы, глухие и тягучие, чужие звуку бухарских рогов, донеслись со стороны северных предместий, пока он ещё стоял у могилы. Никто вокруг не обернулся. Город давно привык к этому гулу, что приближался месяц за месяцем, как приближается непогода, которую видно на горизонте задолго до первой капли.

* * *

В укрытии на чердаке он собирал суму, и руки двигались быстрее, чем мысли успевали их одобрить.

Чернильница легла первой. Та самая, глиняная, обожжённая по краю, с которой начинались все его строки. За ней два запасных калама и миктах для заточки. Три спасённых свитка он завернул в кусок карбоса и уложил на самое дно сумы, туда, где их не помнёт дорога.

Сверху лёг тонкий, потрёпанный по углам свиток без обложки — комментарии Абу Насра аль-Фараби к «Целям Метафизики», купленные шесть лет назад за три дирхема у старьёвщика на дальнем ряду, которому он был обязан больше, чем любому учителю Бухары. Книга, что однажды объяснила ему весь мир за один вечер.

Тряпицу из сундука он отнёс гончару накануне и отдал из рук в руки, как велел отец. Серебра себе не взял. Отцовский дом, посуду, всё, что можно было обратить в дорожные дирхемы, оставил матери и младшим, которым идти было некуда и незачем. Сума получилась лёгкой. Легче, чем он ожидал от вещей, ради которых стоило рисковать головой.

К городским воротам он вышел затемно, когда стража, измотанная тревожными вестями последних недель, едва глядела в лица тех, кто покидал Бухару. Люди уходили десятками, со скарбом на арбах, с детьми на руках, с тем же страхом в глазах, что и он сам. Только их страх был общим, а его — ещё и своим собственным, и он нёс его в себе три года.

За воротами он остановился и обернулся.

Над северными предместьями стояло зарево. Не пожар ещё, только багровый отсвет на низких тучах. Трубы звучали ближе, чем час назад, чужие уху, привыкшему к азану и крику муэдзина. Где-то там росло имя, которое он слышал от беженцев на постоялых дворах. Махмуд, сын Себуктегина, тюркский полководец, чья слава опережала его самого на месяцы пути. Пока только имя. Тень на самом краю зрения.

Хусейн стоял у дороги, ведущей на юго-запад, туда, где, по слухам купцов, принимали учёных без вопроса, чьих богословских советов они боятся. Хорезм, страна за пустыней, где шаху нет дела до того, что думает о мире очередной строптивый лекарь.

Он не знал наверняка, что там найдёт. Позади остался город, где отца больше нет.

Дорога впереди была пуста и черна, и только звёзды над ней держались привычного порядка.

Он повернулся спиной к зареву и пошёл вперёд. С каждым шагом по остывающей ночной дороге чувствовал, как имя детства остаётся там, среди свежей земли у городской стены.

В суме за плечом лежало всё, что осталось от Бухары. Чернильница, три свитка и книга за три дирхема.

Глава 8. Встреча двух солнц

Три года дороги оставляют на человеке больше следов, чем три года книг. Ибн Сина понял это у ворот Ургенча, разглядывая собственную тень на глиняной стене. Худая, чужая, с сумой на плече вместо лёгкой походки, что была в Бухаре.

Мазандаран, Абивард, безымянные караван-сараи, где он лечил за хлеб и ночлег, не называя настоящего имени. Пустыня между Хорасаном и Хорезмом, через которую он прошёл с караваном соли, экономя воду по глотку. По ночам погонщики рассказывали байки о городах, где учёного уважают больше воина. Всё это осталось позади, свёрнутое в память, как свиток, который больше не разворачивают без нужды.

Впереди стояли стены Ургенча. Высокие, бирюзовые от изразцов на верхнем ярусе, слепящие под полуденным солнцем. За ними, по слухам купцов, правил разум. Хорезмшах Мамун собирал учёных, как другие правители собирают золото, — для собственного удовольствия иметь рядом людей, способных объяснить устройство мира.

Стражник у ворот скользнул по нему взглядом: пыльный плащ, стёртые сапоги, бедная сума. Ничего, что стоило бы задержать путника.

В Бухаре его лицо помнили. Здесь он был ещё одним усталым странником, каких через эти ворота проходят десятками.

— Куда идёшь? — спросил стражник, не отрывая взгляда от каравана позади.

— В Академию, — ответил Ибн Сина. — Ищу шаха Мамуна.

Стражник фыркнул и махнул рукой в сторону города, где над плоскими крышами поднимался дым очагов. Ибн Сина шагнул под арку ворот, и голос ему вслед не показался ловушкой. Не в этот раз.

* * *

Академия Мамуна оказалась не дворцом, а просторным домом с внутренним двором, где журчал фонтан и в тени навеса сидели люди со свитками на коленях. Пахло бумагой, чернилами и немного пылью старых переплётов. Этот запах Ибн Сина не встречал с тех пор, как за его спиной закрылась дверь «Сиван аль-Хикма».

Навстречу поднялся мужчина лет тридцати пяти, с сухим, чисто выбритым лицом и внимательными глазами человека, который слушает больше, чем говорит.

— Ты, должно быть, тот врач, о котором писал купец из Горгана, — сказал он. — Юноша, что вылечил эмира Бухары и получил в награду библиотеку вместо золота. Правда, тот же купец прибавлял, что библиотека потом сгорела.

— Библиотеки больше нет, — ответил Ибн Сина. — Сгорела.

— Значит, у тебя не осталось ничего, кроме умения, — кивнул мужчина. — Меня зовут Абу Сахль аль-Масихи. Здесь меня называют лекарем, хотя я скорее спорщик, которому по недоразумению дали кафедру.

Он протянул руку, и в этом жесте не было ни превосходства, ни проверки. Только приглашение, такое простое, что Ибн Сина не сразу поверил, что оно настоящее.

Аль-Масихи, христианин из Горгана, водил его по бимаристану Ургенча в первые же дни. Показывал, как ставить банки, как читать цвет мочи в стеклянной колбе, как отличать желчную лихорадку от простой простуды по запаху пота и цвету склер.

— Ты знаешь Галена наизусть, — заметил он однажды, наблюдая, как Ибн Сина осторожно ощупывает вздутый живот стонущего старика. — Но Гален не видел этого живота. А ты видишь. Доверяй пальцам не меньше, чем свиткам, иначе однажды книга солжёт тебе точнее любого лжеца.

Старик застонал под ладонями. Ибн Сина прижал два пальца чуть выше пупка, задержал дыхание, слушая не ушами, а кожей.

— Здесь твёрдо, — выдохнул он наконец. — И горячо сильнее, чем вокруг. Не желчь. Что-то застряло в кишке.

Аль-Масихи наклонился рядом и повторил движение его пальцев своими. Проверял руку ученика.

— Верно, — сказал он. — Ты учился по книгам семнадцатилетним мальчишкой. Здесь я научу тебя тому, чего нет ни в одном свитке. Слышать тело раньше, чем оно закричит словами.

Они лечили старика неделю. Отвар против вздутия, тёплые компрессы, диета без бобов и жирного мяса. На седьмой день кишка отпустила, и старик впервые за много дней сел на постели сам, без чужой руки под спиной. Аль-Масихи сказал одно слово: «видишь». И не стал развивать.

Вечерами во дворе Академии собирались разные люди: перс и араб, суннит и христианин, старик-звездочёт и юноша, только начавший читать Евклида на чужом для себя языке. Спорили о движении звёзд, о природе огня, о том, есть ли предел познаваемому. Шах Мамун появлялся редко, но когда приходил, садился среди них без чалмы с рубинами и слушал, никого не перебивая.

Иногда после таких вечеров аль-Масихи задерживался во дворе дольше остальных, глядя на звёзды с задумчивостью человека, привыкшего примирять в себе две веры.

— У нас с тобой разный бог на языке молитвы, — обронил он однажды, — но один и тот же бог на кончиках пальцев, когда мы лечим. Разве это не удивительнее любого богословского спора?

Ибн Сина не сразу нашёл ответ. Дома, в Бухаре, за такие слова могли обвинить в ереси быстрее, чем за поджог библиотеки. Здесь, во дворе Академии, они прозвучали просто как наблюдение усталого врача перед сном.

Ибн Сина писал в те месяцы больше, чем говорил вслух. Ночами, при свете чирага, коптящего тонкой нитью дыма, он заносил на бумагу истории болезней, которые видел за день. Как менялся пульс при разных лихорадках. Какие травы помогали старику с раздутой кишкой. Чем отличалась желтизна кожи при одной хвори от желтизны при другой.

Спорил сам с собой на полях, зачёркивал целые строки, поворачивал на пальце отцовский перстень, когда мысль не давалась с первого раза. Одну пиалу вина он позволял себе перед сном не ради хмеля, а чтобы отпустить голову, слишком уставшую держать все свои вопросы разом до самого рассвета.

* * *

Первое письмо от Бируни пришло с караваном специй, свёрнутое в промасленную ткань и перевязанное бечёвкой, потемневшей от дорожной пыли.

Аль-Масихи протянул его через двор.

— Он в Кяте, служит другому Мамуну, родичу нашего шаха, — объяснил он, пока Ибн Сина взламывал печать. — Слышал о тебе от того же купца и не смог смолчать. Готовься: этот человек не умеет писать вежливо, даже когда хвалит.

Бируни писал без приветствий, сразу к делу, острым, стремительным почерком, будто рука едва поспевала за мыслью. Спрашивал, как Ибн Сина объясняет голубизну неба, если, по Аристотелю, воздух сам по себе бесцветен и не должен окрашивать ничего. Требовал доказательств, а не цитат из чужих книг. Называл слепую веру в греков «удобной ленью для тех, кто боится смотреть в небо своими глазами».

Ибн Сина писал ответ два вечера подряд, зачёркивая больше, чем оставляя на бумаге. Отвечал через преломление света в воздушных слоях, через границу между тьмой пустого пространства и белизной солнечных лучей, проходящих сквозь толщу воздуха, как через мутную воду. Джузджани, останься он рядом, наверняка сказал бы, что учитель пишет это письмо со злостью человека, которого впервые за долгое время назвали неправым.

Бируни ответил через неделю. Разбил половину доводов одним точным ударом, но во второй половине нехотя признал, что довод о преломлении заслуживает проверки, а не одного лишь отрицания с порога.

— Он тебя не щадит, — заметил аль-Масихи, читая ответ через плечо Ибн Сины и хмыкая на особенно колкую фразу.

— Он прав чаще, чем я, — ответил Ибн Сина, не отрывая взгляда от строк. — Это и злит, и заставляет писать точнее, чем я писал бы в одиночестве.

— Значит, полезный враг, — заметил аль-Масихи.

— Не враг, — возразил Ибн Сина после паузы.

Переписка растянулась на месяцы. О природе тепла и холода, о том, существует ли пустота между небесными сферами, о движении звёзд. Спорили резко, порой зло, обменивались письмами, полными зачёркнутых строк и едких приписок на полях. Но за каждым письмом Ибн Сина чувствовал не врага, а зеркало, в которое неприятно смотреться.

Записи болезней давно не помещались в один короб — третий стоял у стены, перетянутый бечёвкой, и края первых свитков в нём успели пожелтеть.

* * *

Далеко на юге, в Газне, во дворец султана Махмуда вошёл человек, покрытый дорожной пылью с ног до головы. Стражи расступились без вопросов: этого гонца в дворцовых коридорах знали в лицо не первый год.

Махмуд сидел над картой завоёванных земель, обводя пальцем границы Хорасана, где чернила уже подсохли. Не поднял головы, когда гонец опустился на колено у самого края ковра.

— Хорезм, — произнёс гонец, переводя дыхание после долгой дороги. — Академия шаха Мамуна разрослась сверх обычного. Туда стекаются учёные со всего Хорасана и Мавераннахра, будто вода в низину. Среди них — врач из Бухары, тот самый, чьё имя вы велели запомнить. Лечивший эмира Нуха своими руками.

Махмуд наконец поднял глаза. Взгляд у него был тяжёлый, немигающий, как у человека, который привык, чтобы новости подстраивались под его желания, а не наоборот.

— Тот мальчишка с библиотекой, — сказал он, будто пробуя имя на вкус. — Вырос.

— Вырос, — подтвердил гонец, не поднимая головы.

— Хорезмшах прячет его под своим крылом. — Махмуд снова опустил взгляд к карте, но пальцы его больше не двигались по границам. Они замерли над той точкой, где на пергаменте синей краской была отмечена река Аму. — Крыло можно подрезать. Пиши Мамуну письмо. Учтивое. Пока.

Он произнёс последнее слово так, что в шатре похолодело, хотя огонь в жаровне не изменился. Писец обмакнул калам в чернильницу. Воля султана ещё не звучала как приказ, но уже несла в себе его тень.

* * *

Весть об этом дошла до Ургенча не сразу, но дошла. С очередным караваном, вместе с новым письмом от Бируни. На этот раз в конверте лежал не только спор о пустоте между сферами.

Ибн Сина сломал печать во внутреннем дворе Академии, под вечерним небом, ещё хранившим полосу заката над плоскими крышами города. Аль-Масихи стоял рядом, скрестив руки. По молчанию его было ясно, что он уже догадывается.

Бируни писал коротко, без обычной колкости, и от этого письмо казалось тяжелее прежних. Писал, что в Газне заговорили о хорезмской академии как о сборище строптивых умов, которых давно пора собрать под одной рукой. Что имя врача, вылечившего саманидского эмира, назвали при дворе султана вслух. Назвали с расчётом купца, оценивающего товар.

Слава летит быстрее ветра пустыни, писал Бируни. А Махмуду нужны не книги Ибн Сины. Ему нужно его имя, вписанное в длинный список трофеев, украшающих величие Газны наравне с завоёванными городами.

— Он предупреждает тебя, — сказал аль-Масихи тихо, глядя на лицо Ибн Сины. — Бируни не тратит слов на пустые страхи. Если пишет так, значит, для него это не досужий слух с базара.

Ибн Сина медленно опустил письмо. Двор Академии, ещё минуту назад казавшийся спокойным, стал тесен.

— Шпионы султана, — сказал он. — Они здесь. Среди этих стен.

Аль-Масихи не ответил сразу. Только посмотрел в сторону ворот, туда, где несколько часов назад через них прошёл обычный караван: торговцы, погонщики, случайные путники, чьи лица никто во дворе не запомнил и не пытался запомнить.

Где-то за этими стенами, среди тюков с товаром и усталых верблюдов, мог стоять человек, чья единственная работа состояла в том, чтобы доносить в Газну имена тех, кто ещё верит, что нашёл дом.

Ибн Сина сжал письмо в кулаке, чувствуя, как край отцовского перстня впился в кожу. Убежище, казавшееся прочным, снова оказалось временным. Тень, которая в Бухаре стояла на краю зрения, теперь имела имя и волю.

— Что будем делать? — спросил аль-Масихи негромко.

Ибн Сина молчал. Смотрел на письмо в руке, на подсыхающие чернила Бируни, на закат, гаснущий над крышами Ургенча.

— Пока ничего, — проговорил он наконец. — Пока просто жить и работать, будто мы не слышали этого письма. Но спать теперь буду вполглаза.

Аль-Масихи опустился рядом на каменную скамью у фонтана, устало потирая переносицу.

— Я слышал такие письма прежде, — сказал он. — Не от Бируни. От других, о других людях. Тени, которые сперва пишут учтивые письма шаху. Потом требуют. Потом приходят сами.

— И что делают те, о ком пишут такие письма?

— Одни остаются и ставят на милость правителя. Другие бегут заранее, пока есть куда бежать. — Аль-Масихи помолчал, глядя на гаснущий свет над крышами. — Я не знаю, какой путь верный. Знаю только, что оба стоят дорого.

Ибн Сина посмотрел на друга. Сухое лицо, усталые глаза человека, который лечил чужие тела всю жизнь и ни разу не пожаловался на собственное.

— Мамун не выдаст своих учёных без боя, — сказал Ибн Сина, скорее убеждая себя, чем аль-Масихи.

— Не выдаст, — согласился аль-Масихи. — Пока может себе это позволить.

Глава 9. Ультиматум из Газны

Весть о письме султана Махмуда дошла до Ургенча на два дня раньше, чем сам гонец успел спешиться у дворцовых ворот. Дурные слухи в Хорасане всегда обгоняли самых резвых коней.

Семь лет покоя кончились в одно утро. Семь лет сытой, размеренной жизни в Академии Мамуна, где никто не считал изведённую бумагу, где споры о движении светил длились до третьих петухов, а в тишине библиотечных залов пахло сушёной полынью и старой кожей переплётов. Ибн Сине исполнилось тридцать два. Впервые за долгие годы скитаний ему казалось, что он наконец врос корнями в эту землю, обретя дом, учеников и время для главного труда жизни.

Письмо из Газны вырвало эти корни с сухим треском.

Ибн Сина узнал обо всём не от эмира. Абу Сахль аль-Масихи вошёл в его лекарскую без стука, тяжело дыша с дороги, и по его бледному, заострившемуся лицу всё стало ясно ещё до первого слова.

— Тебя требует Мамун, — сказал христианский врач, отирая рукавом испарину со лба. — Во дворец пришли послы Махмуда. Созван тайный совет.

В приёмном зале, где ещё накануне чертили круги на медных астролябиях и разбирали трактаты Галена, царило глухое оцепенение. Эмир Абу-ль-Аббас Мамун сидел не на возвышении, а прямо на тростниковой циновке среди учёных — верный знак того, что стряслась беда, перед которой правитель и подданные равны.

Шёлковый свиток с золотой печатью султана лежал перед ним развёрнутым. Мамун держал на нём ладонь, словно прижимая открытую рану.

— Султан Махмуд не просит, — произнёс эмир глухо. — Он требует. Троих. Врача из Бухары Ибн Сину. Звездочёта из Кята аль-Бируни. И лекаря-христианина аль-Масихи. Требует отправить их в Газну немедленно, в свите его послов. Если мы откажем — к осени его конница будет стоять под стенами Ургенча.

По залу прокатился тяжёлый шорох одежд.

— Я не могу воевать с Газной, — продолжил Мамун, глядя прямо перед собой. В его голосе не было ни малодушия, ни оправданий — только сухой, безжалостный расчёт правителя, знающего пределы своих сил. — У Махмуда сто тысяч закалённых в боях всадников и боевые слоны из Индии. У меня — торговые пошлины, сады и Академия. Я готов отдать половину казны, но не могу положить весь Хорезм под копыта его конницы ради троих мужей, как бы высоко я вас ни ценил.

Эмир поднял глаза на Ибн Сину и аль-Масихи.

— Силой я вас не выдам, — твёрдо сказал он. — Но и защитить мечами не смогу. Решайте сами, и делайте это до полуночи.

Старый законовед у стены подал голос, приглаживая дрожащей рукой седую бороду:

— А если подчиниться воле султана? При дворе Газны ученым жалуют халаты из парчи и мешки с золотом. Книги можно писать и там.

— Махмуд щедро платит за книги, пока они славят его имя, — негромко отозвался Ибн Сина. — Но горе тому, чья мысль окажется шире его суждений о вере.

Эмир опустил голову, ничего не ответив. Совет был окончен.

* * *

Записка от Бируни пришла в сумерках. Её принёс мальчик-служка в кожаном футляре, с которым они обычно пересылали друг другу чертежи и математические выкладки.

Почерк был резким, быстрым, буквы ложились на плотную самаркандскую бумагу с тем же безжалостным нажимом, с каким Абу Рейхан разбивал в спорах доводы о строении небесных сфер:

«Я еду в Газну. Не из страха перед султаном и не ради его золота. Город без войска обречён, а учёный, похороненный под развалинами вместе с недописанными книгами, не оставит миру ничего. В Газне есть рукописи из Индии, каких не видели в Багдаде, и обсерватории на вершинах гор. Султан жесток и слеп к науке, но пока он ведёт войны, я буду наблюдать звёзды и измерять землю. Лучше остаться живым свидетелем своего века, чем истлеть в безымянной могиле».

Ибн Сина перечитал письмо дважды. Чернила Бируни пахли дубильным орешком и железным купоросом. Пальцы Ибн Сины были испачканы собственной тушью — въевшейся в поры кожи так глубоко, что смыть её не бралась ни одна щелочь.

— Он выбрал свой путь, — сказал Ибн Сина, протягивая лист аль-Масихи.

Они сидели во внутреннем дворике у сухого фонтана, куда не долетал гомон городских улиц.

— Бируни выдержит, — ответил аль-Масихи, мельком глянув на строки. — Он умеет смотреть на тиранов как на природные стихии: засуху, чуму или град. А ты не умеешь. Ты начнёшь спорить с Махмудом на третий день. Почему ты не хочешь ехать с ним?

Ибн Сина перевёл взгляд на темнеющее небо, где зажигались первые тусклые звёзды.

— Потому что я помню Бухару. Двор Саманидов казался вечным, пока дворец не сожгли тюрки Караханидов. Я лечил эмиров и знаю: правители любят врачей только до тех пор, пока боятся смерти. В Газне я стану птицей в клетке, которую заставляют петь по расписанию султана. А когда султан насытится или заболеет неизлечимо, он просто сломает птице шею.

— Значит, бегство? — спросил аль-Масихи.

— Бегство. На запад, через пески Каракумов в сторону Джурджана и Рея. Туда, куда рука Махмуда ещё не дотянулась. Это тяжёлая дорога, Абу Сахль. Ты не обязан идти со мной.

Аль-Масихи слабо усмехнулся, прислонившись затылком к холодной каменной кладке:

— Мне шестой десяток, Хусейн. Я учил тебя врачеванию, а теперь смотрю, как ты уходишь дальше меня во всём. Что мне делать в Газне среди чужих богословов и придворных льстецов? Если умирать в дороге от жажды, то хотя бы рядом с другом и свободным человеком. Я иду с тобой.

* * *

В дальнем покое дома, где размещались младшие слуги Академии, мерцала тусклая конопляная лучина. Молодой служка Фаррух чистил дорожную флягу из кованой меди, тщательно оттирая песком потемневшие бока.

Тень за его спиной выросла бесшумно. Человек стоял в дверном проёме так тихо, будто соткался из ночного сквозняка.

— Не вздумай кричать, — раздался тихий, шелестящий голос. — И не поворачивай головы.

Фаррух застыл, уронив тряпицу в золу.

— Мне нужна малость, — продолжил незнакомец. — Всего лишь щепотка этого порошка в дорожную воду твоего господина. Он не умрёт. Просто уснёт крепче обычного на первом же ночном перевале, где его встретят нужные люди. Ни капли крови.

— Кто вы? — едва слышно выдавил Фаррух. Горло перехватило спазмом.

— Те, кто заплатят за твою услугу больше, чем бухарский лекарь заплатит тебе за двадцать лет службы, — сухо отозвался голос. На циновку рядом с ногой юноши мягко опустился тяжёлый кожаный кошель, глухо звякнув монетами. — Здесь тридцать серебряных дирхемов. Твоя мать в Мазандаране купит корову и зерно на три зимы вперёд. Вторую половину получишь, когда дело будет сделано.

Фаррух смотрел на тусклый блеск серебра. Перед глазами стояли лица младших братьев, пухнувших от голода прошлой весной. И вспомнился сам Ибн Сина — как он три ночи не отходил от сестры Фарруха, сбивая смертную горячку настойкой мака и уксусными обтираниями, а после прогнал отца, пытавшегося отдать ему последнюю овцу: «Врач берет плату с богатых, чтобы лечить бедных даром».

— Подумай о родных, — шепнул голос из тьмы. — Этот лекарь завтра уедет и забудет твоё имя. А твоя семья останется умирать в нищете.

Крошечный бумажный свёрток лёг на край стола. Когда Фаррух оглянулся, в дверях уже никого не было. Только качалось пламя лучины да пахло чужой, горькой дорожной пылью.

* * *

Около полуночи Ибн Сина застал юношу в кладовой. Фаррух сидел на корточках над открытой сумой, сжимая флягу побелевшими пальцами. По его щекам катились слёзы.

— Фаррух?

Юноша вздрогнул всем телом, уронил медяницу и повалился ничком на глиняный пол, не решаясь поднять глаз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.